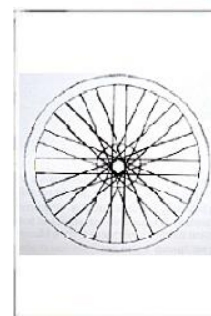


**Юрий Белиловский**



**Доцентские хроники**



Все события и места, упоминаемые в этой повести, реальны. Некоторые имена изменены. Ощущения, переживания переданы так, как они видятся по прошествии времени и, естественно, субъективны.

*Не всякая судьба – пример, но всякая судьба – назидание*

*Словно новорожденная бабочка из кокона, выпорхнула она из оболочки и, прежде чем взлететь ввысь, оглянулась. Такой ритуал. Там внизу снежинки медленно падали на худое лицо, застревали в седоватой щетине и те, которым удалось прикоснуться к неровной серой коже, не таяли. На них падали другие снежинки, аккуратно проникали своими лучиками друг в друга, и лицо постепенно исчезало под лёгким белесым покрывалом. Только открытые глаза были еще видны и смотрели куда-то очень далеко.*

*С коротким шорохом опустилась ворона, деловито походила кругом. Опасно? Пожалуй, нет. Склонила голову набок, прицелилась клювом. Да уж... Подождать не может, что ли? Кшшш... Нет, передумала. Присела, оттолкнулась, взмахнула крыльями, взметнув свежие снежинки, тяжело взлетела и подалась прочь. Не понравилось что-то. Осторожно приблизилась мелкая бездомная дворняга, нервно подрагивая хвостом. Ткнула острым холодным носом во ввалившуюся щеку, неприятно оскалилась, отпрянула. Снова приблизилась, увидела глядящий мимо неё глаз, тихо зарычала, попятилась и медленно потрусилась мимо.*

*Может, вернуться? Не рано ли в заоблачные дали? Всё ли прожито и пережито, что было отмерено? Интересно, может кто-нибудь ответить на этот вопрос? Вряд ли.*

## Начало: Детство. Север

Четырёхлетний мальчик стоял, уткнувшись лицом в клетчатую мамину юбку и изо всех сил прижавшись к ней. Его трясло от огромного страха, трясло мелко и часто, он даже не мог плакать, так ему было страшно. Только что он чуть не попал под громадный чёрный паровоз, который как раз медленно проезжал мимо, обдавая их сверху вниз клубящимся белым паром и оглушая невыносимым шумом исполинских красных колёс и пронзительным свистом откуда-то сверху.

Они с мамой и папой и их приятелями вышли сегодня погулять, и путь их, как, впрочем, все пути в этом северном поселке, население которого состояло в основном из железнодорожников, военных и зеков, пролегал через многочисленные рельсы, как это всегда бывает на узловой железнодорожной станции. Мальчик шагал по обочине дороги, загребая текучую темно-серую пыль нарядными синими сандаликами с дырочками и блестящими пряжками, представляя себя то славным танкистом, зорко смотрящим вперёд из люка своей геройской боевой машины, то лихим кавалеристом в красноверхой кубанке набекрень, приотпустившим поводья, чтобы дать отдохнуть усталому коню. Да и кем ещё может представлять себя сын армейского офицера, родившийся и всю свою недолгую жизнь проживший в военном городке? Взрослые шли шагах в десяти позади и о чём-то увлечённо разговаривали. По деревянному настилу мальчик миновал одну рельсовую колею, другую, ступил на третью. Дальше были еще и четвёртая, и пятая, и шестая... Откуда-то справа медленно приближался маневровый паровоз. Немало их трудилось здесь, перетаскивая по одной-две платформы с брёвнами, кирпичами и досками с места на место. Вдруг сзади отчаянно закричала мама, и мальчика охватил ужас. Он сразу потерял из вида и дорогу, и рельсы, и паровоз. Он понял только, нет, почувствовал, как чувствует своей боковой линией рыба, что сейчас произойдёт что-то страшное и непоправимое. Он замер и сжался в маленький-маленький неподвижный комочек. Кто-то сильно и больно рванул его назад, он чуть не упал, его развернуло, и он уткнулся лицом в клетчатую мамину юбку. Совсем рядом мощным вибрирующим басом заревел гудок, они с мамой стояли в полном оцепенении, прижавшись друг к другу, и он знал, что сейчас они умрут. Паровоз медленно проехал метрах в десяти от них по дальней рельсовой колее, немного обдав их влажным паром из трубки над передним колесом, молодой машинист улыбался из окна своей

капитанской рубки в тридцать два невероятно белых на испачканном лице зуба, потом дал приветственный свисток. Паровоз протащил за собой пару пустых платформ и, набирая ход, укатил. А они стояли и стояли с мамой, и мальчик никак не мог отпустить её ноги, не мог говорить, плакать и почти не мог дышать.

- «Всё, всё, всё, всё, всё...», - повторяла она, легко поглаживая его по затылку, и эти короткие слова, повторяемые скороговоркой, пугали его ещё сильнее, хотя, казалось, сильнее уже нельзя.

Большие страхи бывали и раньше.

- «Ну-ка, мальчик, стань вот тут. Ммм... А вот так? Умница. Теперь не моргай и смотри вот сюда, сейчас вылетит птичка».

- «А вы меня фотографируете, да?»

- «Да. Ты не моргай, сюда смотри».

- «А я на фотографии навсегда останусь?»

- «Конечно, навсегда. Ты головой не крути».

- «А потом?»

Родители сидели на потёртом плюшевом диванчике и смотрели, как фотограф устраивает их четырёхлетнего сына на стуле, аккуратно берёт его раскрытыми ладонями за щёки и наклоняет голову немного вправо, немного влево, чуть поправляет светлые кудрявые волосы и нарядный белый шелковый бант под воротником синей в тонкую белую полоску рубашки, отходит и подходит снова, и они не поняли, почему их чадо вдруг ударилось в плач. Его глаза наполнились слезами, нижняя губа сама собой поползла вперёд, он сморщился, всхлипнул и заплакал навзрыд, горько и безнадежно.

- «Ты что, сынок», - бросились они к нему.

- «Я... на фотографии... останусь навсегда-а-а?!»

- «Навсегда, конечно. Успокойся, мой хороший, навсегда».

Здесь мальчик разрыдался уже безудержно: «Да-ааа! А в жизни-и-и-и?! В жизни я не останусь?!»

Взрослые не сразу поняли, почему плачет мальчик. А когда поняли, долго успокаивали его, не в силах сдержать волнения и улыбки: и смех и грех. Фотосессия была сорвана.

За домом, где они квартировали втроём: мама, папа и он, маленький подвижный мальчик, было большое болото, поросшее ярко-зелёным мхом. Эти северные края вообще славятся своими болотами. Они здесь особенные: сверху упругий изумрудный с голубоватой сединой мох, а под ним холодная чистая колдовски чёрная вода. Когда мальчик читал сказки, а читать он научился рано, про Ивана-царевича, Кощея бессмертного, Василису премудрую и прекрасную, Серого волка, он всегда очень хорошо представлял себе волшебную мёртвую воду, которая хоть и не оживляла, как живая вода, но легко залечивала страшные раны сказочных героев, полученные в битвах с лютым ворогом. Ведь пробравшись по пружинящему мху к заветной кочке, можно было пальцами и запасенной заранее сухой веткой проковырять в нём небольшую лунку и, просунув в неё руку, ощутить ладонью леденящее прикосновение этой воды, а если потрудиться и расширить лунку, то и увидеть её совсем рядом бездонную, таинственную и пугающую. Мальчик был уверен, что в этой воде должны водиться огромные рыбы. Он представлял их себе большими тёмными ленивыми линиями. Это не были хищные рыбы, но, опуская руку в лунку, он всегда с замиранием сердца представлял себе, как они смотрят из тьмы своими большими безразличными круглыми глазами на его маленькую красную от холода руку и медленно размышляют, тронуть её или нет. А раскачиваться на упругом зелёном моховом ковре было одно удовольствие! Прыгаешь, мох проваливается под тобой, как резиновый, а потом медленно выталкивает тебя наверх. Если подстроиться, то можно хорошо раскачаться и тогда, если ты внизу, под ногами появляется вода, а когда мох выталкивает тебя наверх, вода сразу исчезает, как и не было.

Ходить мальчик научился довольно рано, месяцев в одиннадцать. Встал с четверенек, завалился на спину, заревел, снова встал, ухватился за ножку стола, побалансировал немного и быстро-быстро, кренясь и ревя, побежал – топ-топ-топ – вдоль длинной стороны стола к следующей ножке, с разбега уткнулся в неё, снова завалился на спину, успокоился, встал и побежал к следующей ножке как к надёжному причалу. Всё это ему рассказали позже родители. Сам он запомнил другое. Сразу после того, как научился ходить, он заболел, кажется, корью и снова опустился на четвереньки, в партер. Очень нравилось ему заползать под кухонный стол, где проживал серый кот Василий. Там было уютно, в старой ванночке для взбивания пены для бритья у кота всегда водилась гречневая каша с молоком, и мальчик иногда пристраивался к кошачьей трапезе. С трёх сторон их окружали

парные ноги в носках и тапках, с третьей стороны была тёплая стена большой северной печи, и они с Василием по очереди отхлёбывали кашу из ванночки. Коричневая с жёлтыми вкраплениями эта ванночка с молоком, в котором полузатопленными островками виднелась серая каша, длинные тонкие усы в мелких молочных каплях, недовольная кошачья морда и изумлённые глаза мамы, приподнявшей скатерть и заглянувшей к ним под стол, чтобы увидеть и понять, что там за возня и сопение – вот что запомнилось ему в картинках и лицах.

Хозяин дома, Михаил Александрович, был когда-то машинистом магистрального паровоза. Долгими днями, когда отец мальчика был на службе, а мать, учительница, в своей школе, они подолгу сживали вдвоём с хозяином за столом, накрытым потёртой желтой клеёнкой. Михаил Александрович в расстёгнутом сверху фирменном железнодорожном кителе, пьющий, как почти всякий русский, понемногу подливал себе вино в стакан и рассказывал, рассказывал, рассказывал. Рассказывал он вначале с трудом как человек, привыкший больше работать руками, чем связно выражать свои мысли. Потом, по мере того как вино из бутылки порциями переливалось в стакан и дальше, речь его становилась плавной и образной, и в этом месте мальчик хорошо понимал и запоминал всё, что ему рассказывает бывший паровозный машинист.

- «В тендер насыпают уголь, понял? Его кочегар потом лопатой в топку кидает. В котёл наливают воду. Я тебе водокачку на станции показывал, помнишь? Уголь в топке горит и греет воду. Получается пар, как, вон, в чайнике, понял? Потом этот пар идёт в сухопарник, потом в цилиндры, там толкает поршни, поршни толкают шатуны, шатуны крутят колёса, паровоз едет и тянет за собой вагоны, понял?» - это мальчик запомнил на всю жизнь. Особенно ему нравилось слово «сухопарник», и он применял его при каждом удобном, как ему казалось, случае. Мальчик неважно выговаривал «р» и выходило забавно.

Постепенно бутылка опорожнялась, рассказ становился уже не таким внятными и в конце концов бывалый машинист замолчал, потихоньку потягивал вино и по-доброму улыбался маленькому мальчику. Надо сказать, что Михаил Александрович всегда наливал полстакана вина и ему. Пить его не принуждали, он и не пробовал никогда, но ему очень нравилось смотреть, как играют неяркие солнечные лучи в гранёном стакане, рубиновом на просвет.

Михаилу Александровичу не хватало внимания и уважения. Роста он был небольшого и вида весьма несолидного. Седоватый, лысоватый, водянистые серые глаза, нос пуговкой и к вечеру короткая серая щетина на морщинистых щеках. Почти всегда он был одет в чёрный путевский мундир с блестящими пуговицами и начищенные яловые сапоги, которые дома менял на толстые шерстяные носки. Жена, дородная добродушная женщина, относилась к нему с пониманием, хотя временами ему крепко от неё доставалось. Как-то раз он выиграл небольшую сумму на одну из облигаций госзайма, которые принудительно выдавались в зарплату взамен наличных. За выигрышем нужно было ехать пригородным поездом в областной центр. Событие, однако. Михаил Александрович собрался и поехал, благо ему как железнодорожнику полагался бесплатный проезд в пригородных поездах. Что было потом, рассказывал его приятель, который возвращался с ним одним поездом. Понятное дело, повод был серьёзный, и в вагоне приятели слегка принялись на грудь. И там, в груди Михаила Александровича, зашевелился червячок, жажда известности и, может быть, славы. Он со значением оглядел соседей по вагону. Сверху слышался лёгкий храп, пассажир напротив дремал, за перегородкой шумно играли в подкидного, две женщины расположились в проходе на мешках и сейчас доставали из сумок кое-какую снедь. Михаил Александрович извлёк из внутреннего кармана деньги и медленно пересчитал их, складывая купюру за купюрой на свободное место на столике, опять собрал стопкой, положил в карман, снова оглядел соседей. Ноль внимания. Это Михаила Александровича никак не устраивало. Он крякнул с досадой, снова достал из кармана деньги, отыскал там трёшку – бутылка водки с закуской по тем временам – положил на ладонь, поплевал на неё, обтер ею сапоги, скомкал и бросил под стол. Вот так! Самолюбие его было вполне удовлетворено. Дома его потом подначивали время от времени: «Облигации давно проверял? Сапоги-то не чищены, поди». Жена его при этом сердито-насмешливо постукивала себя указательным пальцем по лбу.

В части отцу выделили на зиму дрова. ЗИС-5 подъехал к дому и остановился на левой обочине. Во двор заезда не было, да и двора, собственно говоря, не было тоже. Как-то хозяева обходились без него. Два солдата, водитель и его напарник, вышли из кабины, забрались в кузов и начали ловко выбрасывать оттуда ровные короткие сосновые чурбаки. Работа шла споро, вскоре кузов был уже наполовину пуст. Солдаты работали умело, чурбаки, пролетев короткое расстояние, будто сами

укладывались в неровную поленницу. Конечно, их всё равно нужно будет потом перетаскивать поближе к дому, иначе зимой через сугробы не доберёшься. Да и украдут, не во всяком же доме квартирует офицер, которому так запросто положена машина напиленных дров.

Мальчик любил автомобили самозабвенно, он любил слушать, как мотор мягко урчит на холостом ходу или натужно ревет на подъёме за посёлком, ему так нравился запах бензина, что однажды он, «чтобы пахло», вымазал нос гуталином, которым отец каждый вечер начищал до блеска свои хромовые офицерские сапоги перед тем, как выставить их в прихожую. Он бывал просто счастлив, когда солдаты-водители разрешали ему посидеть на скользком коленкоровом сиденье в кабине грузовика, блаженствовал, когда они брали его прокатиться до ближайшего перекрёстка. Мальчик в очередной раз обошёл машину сзади, и в это время один из солдат кинул вниз чурбак. Мальчик увидел стремительно приближающийся желтоватый бархатистый круглый срез со светло-коричневыми годовыми кольцами, их было немного, а срез был свежий, ровный, с прозрачными росинками смолы. Чуть дальше он увидел застывшие страшные глаза солдата, глаза кричали: «Уходи!..» Больше он ничего об этом не помнил. Впервые в жизни он потерял сознание. Над правой бровью навсегда остался небольшой шрам.

*А вот интересно, сейчас шрам можно разглядеть? Нет, не видно. Ни шрама, ни глубоких морщинистых залысин, ни неровной серой щетины. Виден только снег, да чуть угадываются под ним глаза, без интереса глядящие куда-то очень далеко.*

Летом, когда у отца бывал отпуск, они ездили к его родителям в небольшой старинный среднерусский городок на Оке между Тулой и Калугой. Это так и называлось в семье: ехать в отпуск. Не было в его жизни более чистых и дорогих сердцу воспоминаний. Вечером они садились в купе «Голубой Стрелы», и праздник начинался. Скорый поезд вёз их в Москву. Сразу устраивались, раскладывали по багажным полкам чемоданы, сумки и сетки, потом часть из них доставали обратно и вынимали оттуда курицу, яйца, картошку в мундире и лимонад для мальчика. Обычно в купе оказывался попутчик, какой-нибудь хороший человек, которому нравились и мальчик, и его молодые красивые родители. Вместе ужинали, сидя на мягких коричневых диванчиках, за ужином знакомились, потом мужчины выходили из купе, а мама готовила себе и мальчику



на ночь нижние полки. Мальчик очень хотел, чтобы ему досталась верхняя полка, но всё как-то не выходило, и когда в семь лет это впервые произошло, он был очень счастлив и горд. Уезжали они из сурового северного города: сопки, карликовые заполярные берёзки размером и видом с большой куст голубики только без ягод, студёное тёмно-серое море за окном, а утром мальчик просыпался в волшебной сказке. Ярко-зелёные белоствольные берёзы и тёмные ели то подбегали вплотную к их вагону, то расступались широко, и тогда между ними появлялись и исчезали бесчисленные озёра и озерца, в которых отражались голубое небо и белые облака, а их берега были жёлтыми от молодых одуванчиков. Карелия. Озера, казалось, не кончатся никогда.

Утром вагон понемногу оживал. В узком коридоре у туалетов собирались люди в пижамах с вафельными полотенцами через плечо или вокруг шеи, мылом, щетками и бело-зелёными тюбиками с мятной зубной пастой в руках. Вагон покачивало на стрелках и разъездах, в углу закипал титан, и вскоре проводница в свежем белом переднике поверх форменной темно-синей гимнастерки начинала разносить чай в тонких стаканах, вставленных в кружевные подстаканники. К каждому стакану чая полагалась пара кусочков сахара в специальной продолговатой упаковке с нарисованным на ней мчащимся поездом и надписью МПС. Мальчику нравилось здесь всё: и чай, и подстаканники, и горячий бордово-красный борщ, который быстро и ловко разносили официанты из вагона-ресторана в особых алюминиевых мисках с крышками, поставленных друг на друга в несколько этажей, чтобы хватило всем желающим.

А еще они ходили обедать в вагон-ресторан. Это было блаженство! Втроём они усаживались за столик на мягкие стулья с очень выпуклыми коричневыми дерматиновыми сиденьями, на столике в тарелочке уже лежал ровно нарезанный белый и чёрный хлеб, а в специально отведенном месте у окна стояли соль, перец и горчица. Подходила официантка и приносила меню. Заказывали обычно солянку, котлеты или биточки с пюре и компот. Отец с матерью иногда заказывали бутылку лёгкого вина или маленький графинчик водки, мальчику брали крошечки. Как же он любил крошечки! В обычной жизни его никогда не было, а в поезде – пожалуйста. Пока ждали первое, мальчик смотрел в окно, где всё так же пролетали мимо деревья, за которыми то здесь, то там, появлялась и исчезала гладкая-гладкая

поверхность воды. Мальчик смотрел в окно и потихоньку отщипывал кусочки чёрного хлеба.

Рано утром прибывали в Москву. Поезд медленно втягивался под прозрачную арочную крышу вокзала, и пассажиры, уже четверть часа нетерпеливо толпившиеся в тамбуре и коридоре с чемоданами, сумками, баулами и свёртками, устремлялись к выходу. Проводница открывала замок кривым, похожим на букву Г, ключом и отворяла дверь. Потом быстро протирала тряпкой поручни и отходила в сторону. Другая проводница, та, что вчера разносила чай, разворачивала большую и плоскую, как полотенце, холщовую сумку с множеством кармашков, где хранились билеты, которые пассажиры отдавали ей, когда садились в вагон, и возвращала билеты пассажирам. Мальчику всегда было интересно, зачем проводнице чужие билеты, но никто так и не смог ему этого объяснить. Вопрос остался невыясненным.

Вот одно наблюдение: если у ребёнка есть вопрос по поводу какого-то предмета или события, а после ответа и разъяснения, как бы ни были они подробны и убедительны, вопрос остаётся, значит, эти предмет, событие или ответ и разъяснение нелогичны, кроется в них какой-то обман, лукавство. Канарейку шахтёры берут в забой как индикатор наличия гремучего газа. Берите ребёнка как индикатор правды. Взрослый для этой цели не годится. Взрослый человек – раб стереотипов.

*...Чем этот мальчик отличается от нас?*

*Он – это я, но у него есть шанс...*

Они тоже выходили из вагона на высокий, вровень с тамбуром, просторный перрон. Отец нёс в одной руке большой красивый серый чемодан с фасонными металлическими уголками, в другой – чёрный чемодан попроще. Мать несла небольшой чемоданчик и сумку. Мальчику доверяли какой-нибудь не очень тяжёлый груз, правда, груз этот всегда был в единственном числе и это было неудобно. Рука уставала, уставала спина, приходилось останавливаться и перекладывать ношу из одной руки в другую. Однажды ему дали нести сетку-авоську с упакованной в неё едой на оставшийся путь. Сетка была из новомодной пластмассовой нитки, похожей на толстую рыболовную леску, но почему-то очень эластичной. Сетка быстро вытянулась и стала в такт шагам цеплять перрон, а вскоре просто улеглась на него и волочилась по асфальту вслед за мальчиком.

Конечно, нитка быстро протёрлась и сразу распустилась, и на асфальт посыпались кое-как завёрнутые в кальку кружочки колбасы, полкурицы, спичечный коробок с солью, варёные картофелины в мундире, позавчерашние липкие плюшки к чаю и многое другое, что бралось в дорогу. Мальчик чувствовал себя крайне расстроенным и раздосадованным, но никто из спешащей толпы пассажиров не толкнул и не обругал его, люди осторожно обходили стороной всё, что он рассыпал, а какой-то пожилой мужчина лет сорока присел рядом и помог им с мамой собрать всё в запасную сетку.

Потом они выходили на огромную привокзальную площадь, становились в короткую очередь и вскоре мчались в такси на другой вокзал, откуда им предстояло вечером отправиться в сторону Калуги. Внутри стремительной красивой «Победы» было так здорово, что у мальчика от восторга перехватывало дыхание. Водитель в форменной фуражке включал счётчик, и они резво трогались с места. Машина катилась бесшумно, щёлкал счётчик, рядом - справа, слева, впереди и позади - мчались такие же красивые сверкающие машины. Ну просто никакого сравнения с отцовским зелёным военным газиком и его пропахшим бензином водителем, который при встрече всегда козырял и представлялся: «Рядовой Стовец». Звучало как «Стовец»...

Москва виделась мальчику большим нескончаемым праздником. Роскошные каменные дома, такие высокие, что верхние их этажи можно было рассмотреть только с противоположной стороны широченного тротуара, поэтому мальчик время от времени хватал родителей за руки и увлекал их за собой: на ту сторону тротуара, потом обратно и опять на ту. И так много раз. Широкие асфальтированные проспекты, перейти которые было почти невозможно не только потому, что по ним ехали и ехали машины, автобусы, троллейбусы, но и потому, что везде стояли строгие милиционеры с полосатыми жезлами, и пешеходы дисциплинированно ждали, пока загорится зелёный свет светофора или милиционер остановит движение машин и разрешит им перейти улицу. Нигде не было грязи и пыли, красивые ухоженные клумбы утопали в ярких цветах, а газоны были свежими и зелёными. Правда, мох на болоте за его домом был, пожалуй, позеленее. Ну да ладно, то дома, а то в Москве. По тротуарам непрерывно шли люди, очень много людей, мужчины и женщины, дети и старики, весёлая и шумная молодёжь. Увидев мальчика, многие из них улыбались ему, некоторые

высовывали язык или строили весёлые рожицы, и мальчик понимал, что они рады его видеть. Было хорошо!

До вечера было ещё далеко и они всегда использовали эти часы с толком. Отец не жалел времени и тщательно готовил его к предстоящей встрече с новым. Ещё там, дома, он как-то целый вечер специально рассказывал ему, кто такой художник Левитан, как он писал, что он писал. Потом дал тоненькую книжку, которая так и называлась «Исаак Левитан». Наверное что-то осталось в душе мальчика, потому что, когда отец привёл их с мамой в Третьяковскую галерею, он сразу попросился в зал, где висели картины Левитана. Он долго смотрел на знаменитый осенний пейзаж, и ему стало грустно-грустно. Отец показывал ему крупные мазки на холсте, объяснял, что если подойти поближе, то очарование исчезнет, останутся только жёлто-зелёные пятна, такая уж была манера письма у этого художника, но мальчика трогало не это, хотя было интересно, конечно. Он просто стоял и смотрел на эти берёзы с желтеющей или уже совсем жёлтой листвой, и ему хотелось тихо заплакать. Он узнавал эти печальные берёзы, ему казалось, что он дышит этим осенним воздухом, свежим, холодным и чистым.

Там, где они жили, берёзы, настоящие деревья, а не полярные берёзы-кустики, были, конечно же, не такими. Те были поменьше и попроще, тоненькие и беззащитные. Он любил берёзы, сам не понимая, да и не задумываясь, за что. Много позже, бывая по делам в Москве и подъезжая к ней из Домодедово по дороге, ведущей сквозь негустой берёзовый лес, он всегда испытывал щемящую печаль. Наверно, теперь это была грусть по невозвратному детству.

А ещё в Третьяковке его потряс Куинджи. Поднимаясь с отцом по лестнице, он вдруг увидел Лунную ночь. Серебристая с изумрудным отливом дорожка света на воде притягивала взгляд. Породившая её луна, появившаяся в разрыве облаков, отстраненно смотрела на него из огромного чужого мира. От этого на душе было непонятное волнение и хотелось подняться над землёй и взглянуть вместе с луной на эту широкую спокойную реку, на неподвижные крылья праздной мельницы на её берегу, на угадывающийся в темноте мирно спящий хутор. Невыразимо прекрасный и тревожный свет будил в душе сомнение и ожидание. Такое же по силе ощущение он пережил ещё раз спустя три с половиной десятилетия, когда в Дрезденской галерее увидел Мадонну.

А на ВДНХ мальчик просто терялся от обилия впечатлений. Всё было необычное, всё новое. Огромные рабочий и колхозница с молотом и серпом в поднятых вверх руках над гигантской аркой входа. Невероятно красивый фонтан с рослыми женщинами в длинных золотых одеяниях, расположившимися вокруг бассейна, куда с шумом падали тяжёлые водяные струи. Папа что-то объяснял ему, но мальчик уже мчался вперёд. Там, сразу за фонтаном, стоял настоящий пассажирский самолёт! Военных-то самолётов мальчик навидался в своей недолгой жизни... А вот пассажирский! Да ещё такой большой, красивый, серебристый, а главное - с большим трапом, поднимающимся к открытой двери. Вперёд и вверх!.. Однако к трапу выстроилась длинная неподвижная очередь, и отец категорически сказал: «Пойдём дальше, налетаешься ещё, сын». Мальчик собрался было всплакнуть, но передумал. Был в этом определённый резон. Лучше уж сходить пообедать в ресторанчик-поплавок, оборудованный на палубе отслужившей срок баржи.

И чудеса продолжались. Они сидели на открытой площадке под матерчатым полосатым тентом. Было солнечно и тепло. По поверхности пахнувшей тиной зеленоватой воды медленно скользили желтовато-белые лебеди и желтоклювые утки, тяжёлые зелёные ветви нависали над водой и палубой, откуда-то выплывали огромные карпы, ловко хватали куски хлеба, которые бросали им люди, и, тяжело плеснув, чёрными тенями исчезали в глубине. Изумительно вкусная рыбная солянка, холодный, но не ледяной пломбир, зажатый между двумя хрустящими вафлями, и, конечно же, крешен – такое не забыть!

В этот день они успевали ещё зайти в ГУМ с его фонтаном в центре и бесчисленными магазинами, магазинчиками и ларьками вдоль двух бесконечно длинных коридоров под высоченными стеклянными сводами. Всюду были озабоченные люди с сумками, пакетами и даже тюками. Они спешили куда-то, натыкались друг на друга, извинялись или переругивались на ходу, а главное, стояли в очередях, таких длинных, каких мальчик никогда раньше не видел. А потом эти люди, расслабленные и удовлетворенные, обедали борщом и бифштексом в закусочной на втором этаже в торцевой части здания.

ГУМ был мало интересен мальчику, он был слишком велик для его понимания. Большой, яркий, шумный и бестолковый. Другая планета, чужая цивилизация. А вот Детский Мир – это совсем другое дело! Игрушки, игры, модели

самолетов и кораблей, книжки, игрушки, игрушки!.. А какая красивая яркая одежда! Так вот почему на улицах Москвы дети одеты совсем не так, как в их северном поселке. Но главное - игрушки. На всех этажах. Им не было конца. И когда всё же наступало время уходить, у мальчика сами собой начинали дрожать губы, и он сдерживался изо всех сил, чтобы не заплакать. Удавалось не всегда.

...Бывая в Москве уже совсем взрослым, он всегда находил час-другой, чтобы зайти в Детский Мир. Конечно, в первую очередь для того, чтобы купить что-нибудь подрастающему сыну. А ещё для того, чтобы на какое-то время отвлечься от забот и погрузиться в детское ощущение праздника. Увы, праздника оставалось всё меньше и меньше, забот становилось всё больше и больше. Покупатели уже не улыбались ему, как прежде, а если кто-то толкал его, то никогда не извинялся, а бормотал под нос что-то непонятное, но явно злое и обидное...

Прямо из Детского Мира, нагруженные красиво упакованными покупками, они спускались в метро. Ещё одно чудо! Конечно, мальчик читал об этом в книжках. «Лестница-чудесница» оказалась широким быстро движущимся эскалатором (это слово он услышал из репродукторов дважды, пока они спускались вниз), исчезающим так далеко внизу, что казалось, они будут ехать и ехать и не доедут никогда. Доехали, конечно.

- «Ну что это такое?! Следите за своим ребёнком! Безобразие какое!..» - это мужчина в сером габардиновом костюме и светлой соломенной шляпе выговаривал маме.

- «Извините нас, пожалуйста, он никогда раньше не был в метро, извините».

- «Ну, так держите его за руку, прыгает, как ненормальный!»

А это мальчик, почувствовав, что траектория их движения становится более полой, увидев, что приближается перрон, а эскалатор начинает вдруг вытягиваться и превращаться в полосатую ленту, которая, оказывается, быстро уходит под какую-то зловещую гребёнку, обращенную прямо к нему блестящими металлическими зубьями, подготовился и ловко прыгнул далеко вперёд так, чтобы наверняка миновать эти неприятные зубья. Серые габардиновые брюки с манжетами и светло-коричневые сандалеты с аккуратными отверстиями для вентиляции он видел, конечно, в паре шагов впереди, но было не до них. Мама покраснела и расстроилась, мальчик расстроился тоже, он понимал, что виноват, и не знал, как заступиться за себя и за маму.

...Поезд на Калугу был совсем не таким, как «Голубая стрела»: это были выдавшие виды зелёные вагоны с высокими крышами, как будто из старого фильма, которые часто крутили по вечерам в солдатском клубе. В купе было не так мягко и уютно, как в Стреле, но вполне чисто, да и ехать было не очень долго, всего-то одну ночь. Часов в одиннадцать вечера электровоз плавно тронул состав от перрона, поезд вышел из-под свода вокзала и, набирая ход, унес их в темноту.

Утром мальчик проснулся от тишины. Было уже светло. Поезд стоял. Мальчик приподнялся, отодвинул занавеску на окне и увидел чудо. За окном был волшебный лес. Раннее солнце искрами просвечивало сквозь чистую и свежую листву берёз и осин, подступавших со склона холма вплотную к вагону. Чуть выше, ближе к вершине холма, росли стройные сосны с длинными светло-зелёными иголками и бледно-коричневой шелушащейся корой, на которой кое-где виднелись прозрачные капельки смолы. Нежная ещё не высохшая от утренней росы зелёная растительность покрывала землю: трава, клевер, иван-да-марья, кашка, ромашки, а кое-где плоские кустики с мелкими розовыми ягодами земляники. И воздух! Вдохнув, его жалко было выдыхать. Вкус этого воздуха среднерусской земли всю жизнь преследовал его сладким и немного грустным наваждением.

Небольшой городок на Оке. Маленький деревянный дом в недлинном ряду таких же домов на окраине города. Узкий палисадник с георгинами под окнами, тесный двор, ещё один палисадник с беседкой, сарай, курятник, огород с несколькими яблонями и кустами крыжовника и чёрной и красной смородины. После дождя так здорово пройтись босиком по двору и выйти на улицу. Ступни чуть скользят по тёплой грязи, которая проступает между маленькими розовыми пальцами. Можно не заметить и наступить на тёмную колбаску утино помёта, соседские утки здесь уже прогулялись и всюду видны следы трёхпалых перепончатых лапок. Ничего, вон большая лужа, там всё отмоется. Если рано утром пробраться в огород, то можно вдоволь наесться смородины и крыжовника, правда, очень уж неохота отщипывать с каждой ягоды неудобные мягкие, но такие цепкие полусохшие хвостики. Если повезёт, то на грядке можно увидеть среди белесых листьев красный бок помидора, сорвать и, вдыхая его терпкий аромат, отнести на стол в беседке. Бабушка, бабуля Лена, и дедушка, деда Володя, всегда делали так по утрам. А ещё по утрам из круглого черного репродуктора, висевшего

в комнате на стене между двумя окнами, выходившими в палисадник, вдруг раздавались веселые звуки горна, и звонкий детский голос говорил: «Здравствуйте, ребята! Слушайте Пионерскую Зорьку!» Пора вставать, начался новый хороший день.

В углу палисадника между забором и стенкой беседки жил паук. Его паутина была упругой, просторной и мощной. По утрам и после дождя на ней местами собирались капли и сквозь них, если найти правильное место и присмотреться, как сквозь увеличительное стекло, были видны толстые нити паутины. Мальчик иногда пробирался к паутине и осторожно трогал её длинной соломинкой. Тогда откуда-то из темноты стремительно появлялся большой серый паук и замирал на границе света и тени, оценивая обстановку. Что-то всегда казалось ему подозрительным, и он ни разу не приблизился к соломинке. Зато мальчик наблюдал однажды, как паук справился с маленькой стрекозой, зацепившейся прозрачным крылом за паутину. Здесь уж паук не мешкал, быстро и ловко добежал до стрекозы и надолго припал к ней, иногда подрагивая и чуть перебирая конечностями. Сухие останки стрекозы долго потом висели в паутине, напоминая мальчику это ужасное событие. Чтобы отомстить за стрекозу, он как-то раз подобрал на соломинку и сбросил в паутину крупного красивого чёрно-коричневого муравья. Тот побарахтался, освоился и медленным шагом направился к краю паутины. Тут же к нему метнулся паук, добежал до него и попытался обхватить. Муравей развернулся к противнику и приподнялся в боевую стойку, явно собираясь защищаться. Можно было разглядеть его напряженные могучие челюсти-жвалы, готовые к бою. И паук отступил. Он сделал пару шагов назад, развернулся и нехотя вернулся в своё убежище. Муравей же уверенно пошёл к краю паутины, перебрался на серую доску забора и неторопливо спустился по ней на землю.

Сразу за домом начинался большой зелёный луг, на котором мальчишки по вечерам играли в чижика, лапту или футбол, дальше был овраг с пологими склонами, покрытыми невысокой зелёной травой, а за ним начинался сухой и светлый сосновый бор, местами поросший понизу орешником. Бор через пару километров незаметно спускался к правому берегу Оки. Если идти бором к реке, то по пути можно легко набрать корзинку душистой земляники или зелёных лесных орехов, а то и лукошко маслят с налипшими на их рыжие шляпки длинными сухими сосновыми иголками. Мама иногда подзывала его и давала с ладони землянику.



Он брал ртом все ягоды сразу. На губах оставался прозрачный розовый сок. Если пойти чуть правее, то попадаешь в дубовую рощу и там, если повезёт, можно найти пяток-другой крепких, пахнущих особой свежестью, белых грибов. Берега реки в этих местах сплошь песчаные, течение медленное, поэтому купаться здесь было одно удовольствие. До крутого противоположного берега было метров сто пятьдесят-двести, а может, и больше, детский глаз оценивает расстояние не в метрах, а как-то по-другому.

Напротив городского пляжа в дубовой роще на том берегу виднелось большое белое строение – старинная усадьба. Однажды, когда они с отцом и матерью были на пляже, десятилетний мальчик просто взял да и поплыл на ту сторону. Отец увидел это и присоединился к мальчику. Так они плыли и плыли, их заметно сносило вправо течением, довольно сильным посередине реки, кроме того, здесь время от времени ходили белые пассажирские теплоходы, и чёрные с красной полосой по борту шумные пыхтящие буксиры тянули за собой тяжёлые баржи. Мальчику стало жутковато, ему показалось, что снизу из глубины подплывает и вот-вот коснётся его что-то большое, бесформенное, безразличное и беспощадное. Он оглянулся назад, но низкий правый берег был уже далеко, гораздо дальше, чем левый, к которому они плыли. Он было запаниковал, но отец спокойно плыл рядом, он тоже успокоился, и они благополучно добрались до берега. Обрато их переправил какой-то парень, который рыбачил с ялика под крутым берегом ниже усадьбы и как раз собирался возвращаться.

Как-то раз они выбрались на рыбалку с ночёвкой. Был отец с другом детства дядей Костей, директором той школы, в которой оба они когда-то учились и которую окончили двадцать первого июня сорок первого года. Был его сын Женя, с которым мальчик сдружился давно, ещё в первый свой приезд в отпуск. Они засветло добрались до берега, где тоненькой струйкой сбегал к реке ручеёк, который начинался тут же из небольшого родника, деревья подходили почти к самой воде, а берег оканчивался невысоким, сантиметров в тридцать, обрывом. У родника и разбили лагерь: поставили две палатки, соорудили место для костра с двумя рогатыми стойками и толстой свежесрубленной ивовой веткой, уложенной на эти рогадины – для котелка. Сушняка для костра вокруг было много, да и река подбросила пару коряг, которые когда-то по весеннему половодью застряли в ивняке. Потом вода ушла, а коряги оказались на берегу и высохли добела. Быстро

разобрали и привели в порядок снасти: несколько удочек для мальчиков, штук пять закидушек, короткий, метров на двадцать, перемёт с десятком крючков – на щуку, которая, как говорили, могла быть в этих местах. Прямо напротив бивака метрах в двадцати от берега был низкий песчаный островок, поросший полуметровым ивняком, течение в протоке было не быстрым, вода у берега доходила мальчику до макушки, дно было ровным, ближе к острову становилось мельче. В общем, место для рыбалки неплохое.

Взрослые быстро наловили мутилкой десяток пескарей для перемёта. Это делается так: на песчаном мелководье на дно укладывается небольшая мелкочейстая сетка, распятая на четырёх жердях, а в метре перед ней выше по течению другой жердью взбаламучивается дно, пескари выбираются из песка и попадают на эту сетку. Кому повезло, те уплывают дальше, запутаться там негде, кому нет – те на перемёт. Мальчики тоже поймали штук пять пескарей стеклянной литровой банкой: марля с дыркой на горловине, несколько кусочков хлеба внутри, рыболовка-мышеловка. К вечеру поймали на перемёт пару щук по килограмму, небольшого окуня, дядя Костя вытащил закидушкой большого леща, да мальчики наловили удочками десятка два ершей и пару небольших окуньков. Эта мелочь хватает червя стремительно и жадно. Поплавок сразу идёт под воду и нужно уловить этот момент, чтобы резко, подсечь. Когда тянешь ерша из воды, кажется, что там, в глубине, сопротивляется, по крайней мере, полуметровая рыбина, так он борется за жизнь. Уже в воздухе он растопыривает все плавники и бьётся в последней надежде выплюнуть коварный крючок с ненужным уже червяком и уйти в воду. Осторожно, ерш чрезвычайно колюч! Это, конечно, не смертельно опасный обитатель экзотических южных морей, но уколы его плавников неприятно болезненны. Мальчик неоднократно убеждался в этом.

Уха вышла – просто объеденье. Набрали в котелок воды из родника и повесили его над костром. Пока она грелась и закипала, начистили картошки, достали крупу, соль, лавровый лист, душистый чёрный перец. В подоспевшую воду бросили всю мелкую рыбу, которую вскоре вынули, потом крупу и картошку и немного погодя аккуратно опустили в кипящую уху выпотрошенную и очищенную от чешуи крупную рыбу. Посолили, поперчили, бросили несколько лавровых листиков, и через пятнадцать минут всё было готово. Лица то высвечивались ярко, когда люди наклонялись к разостланной у костра грязноватой походной скатерти с

хлебом, помидорами, солью, конечно, полулитровой бутылкой водки с неровно сколотым белым сургучом по верхней кромке горлышка, то исчезали в темноте, когда они отодвигались назад.

Костёр понемногу догорал, темнота придвигалась всё ближе и ближе. Мальчику казалось, что со всех сторон на него смотрят какие-то посторонние, кого он не звал. Это не был страх. Просто лёгкая тревога. Хотелось прижаться к высокой и толстой стене так, чтобы никого не было за спиной.

Потрескивали последние головешки в костре, огонь из ярко-жёлтого стал оранжевым, потом потемнел, распался на отдельные пятна, постепенно превращающиеся в светлые точки, которых становилось всё меньше, меньше, и вот они исчезли совсем... Темнота, державшаяся до этого на расстоянии, вдруг придвинулась вплотную, тронула лицо и волосы мальчика, и он сразу стал частью этой ночи, частью вселенной. Тревога ушла куда-то, стало легко и спокойно. Оказалось, что вокруг не так уж и темно. Перемигивались неяркие далёкие звёзды, щедро рассыпанные по небосводу. Совсем близко, только руку протяни, угадывалась могучая река. Её течения не было слышно, но было понятно, вот она, река. Рядом ударила хвостом сильная рыба. Потом, натужно пыхтя, прополз вверх по течению пароход, буксир, наверно. Слышно было, как ему приходится тяжело. Тусклый огонёк на клотике медленно проплыл мимо и растворился в темноте. Мальчик подошёл к воде, потрогал её ладошкой. Вода была тёплая, большая и добрая. Она ласково обтекала его руку, несильно тянула за собой, и мальчику вдруг захотелось войти в реку и пусть она несёт его далеко-далеко. Было покойно и так хорошо, что хотелось заплакать от счастья.

*Редкие снежинки всё так же медленно падали на лицо. Те, что упали первыми, схватились тонкой полупрозрачной корочкой. С чего бы это? Подтаяли, что ли?..*

Потом они переехали в другой военный городок. Там в Хибинах пробивала себе путь на север к океану большая быстрая река, именем которой (а, может, и наоборот) был назван целый полуостров. В памяти мальчика с детства запечатлелись непривычные уху названия: Исакогорка, Кандалакша, Африканда, Шонгуй, Зашеек...

В Зашейке он пережил горькую детскую обиду. По вечерам в Доме офицеров показывали кино. Сегодня шёл фильм «Следы на снегу». На первый, шестичасовой,

вечерний сеанс детей пускали. Без четверти шесть мальчик взял оставленный ему мамой рубль и пошёл в кино. Он протянул деньги в кассу, но ему их вернули: «Сегодня детский за два».

- «А завтра будет?»,

- «Только сегодня, мальчик, завтра другой фильм».

Это было так неожиданно и так безысходно. Отец на службе, мама в своей вечерней школе. Мальчик заметался, не веря в своё горе, но выхода не было никакого. Знакомых нет, да и вряд ли бы он попросил, что-то всегда мешало ему просить об одолжении. Понурясь, побрёл он прочь от Дома офицеров, на изгибе дороги оглянулся: большой белый щит афиши пересекали по диагонали загадочные синие следы...

Рыбалка здесь была просто потрясающая! Сёмга, горбуша, кета, форель, сиг, налим. Конечно, большая красная рыба была недоступна маленьким рыбакам. Её ловили на спиннинг причём особого рода. Никакие фабричные изделия из обычного или клееного бамбука не признавались. Удилища готовились умельцами из клинка спортивной рапиры. Длиной оно было не больше метра, так что его вполне можно было спрятать за голенище высокого болотного сапога. А как иначе? Рыбачить здесь можно было только по-браконьерски, чем взрослые рыбаки и промышляли. Рыбинспекторы по рассказам взрослых были свирепы, они часто ловили зазевавшихся рыбаков, а самих их время от времени купали в студёной реке. До смертоубийства, правда, не доходило. Впрочем, как это было на самом деле, мальчику не было известно, на маленьких удильщиков с одной короткой бамбуковой, а чаще березовой удочкой инспекторы внимания не обращали.

Среди местных браконьеров выделялся своей колоритной внешностью одноглазый дядя Вася, прозванный адмиралом Нельсоном. Мальчик всегда видел его в длинном рыбацком брезентовом плаще, железнодорожной фуражке без козырька под капюшоном, огромных болотных сапогах со спадающими почти до земли отворотами и с узкой пугающей чёрной повязкой наискось через правый глаз. В рыбацком мастерстве ему не было равных. Мальчик не однажды с восторгом наблюдал, как дядя Вася «из-под подола» - правой рукой снизу от левого сапога – забрасывал блесну за середину реки, казалось, на всю стометровую длину миллиметровой леси, небрежно страхуя большим пальцем вращающийся со свистом барабан катушки. Тормоз-трещотку бывалые рыбаки

удаляли с катушки сразу: шумно и ненадёжно, большой палец оставался единственным предохранителем против «бороды». Блёсны делались вручную из рефлектора прожекторов ПВО – военный городок всё-таки. Трехмиллиметровая медь с миллиметровым зеркальным никелевым покрытием была прекрасным исходным материалом. Блёсны эти были необычайно красивы, что, видимо, ценила и красная рыба, и тяжелы, так что дополнительный груз для дальнего броска и не требовался.

Родители вскладчину с соседями по финскому дому-коттеджу, где они жили, регулярно заказывали адмиралу свежую сёмгу под засол. Однажды тот вдвоём с напарником доставил огромную рыбину. Мальчик запомнил её вес, тридцать килограммов. Была ли она так тяжела на самом деле, неизвестно, но когда сёмгу уложили в ванну на первом этаже, она не поместилась туда, большая голова хищного, но печального вида выглядывала в одну сторону, хвост далеко свешивался в другую. Когда вспороли брюхо, оттуда извлекли полупрозрачный белесый мешок с красной икрой. Её было невероятно много. Икринки были абсолютно одинаковые, большие и неподатливые. Дядя Вася взял столовую ложку, подцепил икры до краёв сквозь прореху в мешке, посолил грязноватыми пальцами и протянул мальчику: «На, попробуй». Мальчик отпрянул было, а потом рискнул и ухватил губами пол-ложки. Было в этом что-то притягательное и отталкивающее-порочное одновременно. Икринки по одной лопались во рту, оставляя острое ощущение обладания украденным сокровищем. Больше никогда в жизни он не пробовал ничего подобного. И, конечно, ни в какое сравнение с этим не могла идти купленная в магазине спрессованная в банке вялая и липкая красная икра.

Мальчишки - те рыбачили по-другому. Вдоль реки, повторяя все её изгибы, шла железнодорожная насыпь. Именно по этой железной дороге туда и обратно проносилась два раза в сутки «Голубая стрела», а в другое время не в лад перестукивали колёсами товарняки, да несколько раз в день подавали мелодичные голоса электрички, составленные из шести грязновато-зелёных вагонов. Мальчишки вставали пораньше и по шпалам поднимались вверх по течению реки километров на пять-шесть, потом спускались с насыпи на каменистый берег, и начиналась настоящая рыбалка. Река здесь – это, понятно, не Ока. Шириной метров шестьдесят-восемьдесят, местами больше, местами меньше, зажата в тесных высоких каменистых берегах, поросших кустами, еловым и

осиновым лесом, она мчалась со скоростью курьерского поезда. Почти не было водной глади, в которой можно было бы увидеть отраженное небо. Везде стремительные гремящие струи, в глубоких местах тёмные, почти чёрные, или зеленовато-прозрачные на многочисленных перекатах, где струи падают с высоты, уходят в глубину и возвращаются к поверхности упругими вертикальными вихрями, которые дальше вниз по течению распадаются на мелкие водовороты, вихри, воронки, никогда не повторяющиеся ни по форме, ни по месту. Эти мелкие вихри не успевают слиться в сплошной ровный поток, потому что на пути у них уже новый перекат, потом ещё, и ещё, и ещё... Везде белые хлопья пены, брызги и гул, гул, гул, который вначале кажется монотонным, но, если прислушаться, в гуле этом непрерывно меняются обертона, следуя непрерывному изменению течения воды.

Короткая, метра в два-два с половиной, удочка из гибкого берёзового или осинового побега, леска такой же длины или чуть короче, самодельный поплавок, вырезанный из большого пенопластового поплавка от морского рыболовного трала, грузило-дробинка, острый крючок, «восьмеркой» закрепленный на конце лески. Через плечо брезентовая сумка от противогаза с большим отделением для улова, маленьким для куска хлеба или бутерброда, если мама успеет приготовить и положить, соли, спичек, ножа, запасных крючков, грузил и лески. Там же банка с накопанными с вечера червями. Закрытыми их держать нельзя, задохнутся, поэтому иногда черви из открытой банки расплзались по всей сумке и приходилось нащупывать их там грязными и мокрыми пальцами между спичками, бутербродами и снастями.

Одеты были мальчишки – и офицерские дети, и местные – примерно одинаково: самый маленький офицерский или солдатский бушлат защитного цвета, иногда солдатская телогрейка, байковые спортивные штаны, кирзовые сапоги на кожмитовой подошве и солдатская пилотка на макушке. Пилотку, впрочем, вскоре приходилось натягивать поглубже, а потом и вовсе разворачивать её и закрывать уши и щёки: если дул ветерок, то у реки было холодно, а если ветра не было, то сразу нападала голодная мошкара. Мальчик как-то взял у отца из тревожного чемоданчика защитный крем от комаров и намазался им перед рыбалкой. Дружок из местных, Вовка, принялся к нему и покрутил пальцем у виска. В тот день мальчик не поймал ничего. Временами мальчишки смотрели друг на друга – в бушлатах до колен, мокрых сапогах, пилотках с опущенными до шеи

отворотами, с красными хлюпающими носами – и хохотали: «Хенде хох, гитлер капут, бабка, млеко, курка, яйки, стиркать, стиркать!..» - именно так разговаривали позорные фрицы в фильмах про войну.

Теперь червя на крючок, поплевать и в воду его. Ну, побежали. Побежали – это буквально. Если повезёт, поплавок падает в свободную от пены воду и несколько мгновений его видно на тёмной поверхности. Потом поплавок затягивает в ближайший водоворот, он ныряет и всплывает ниже по течению совсем не там, где можно было предположить, тут же скрывается под пеной, а через мгновение леска натягивается, поплавок приподнимется над водой – это течение унесло леску вниз на всю её длину. Нужно переадресовать снасть. Это надоедает, да и что топтаться на одном месте? В путь за поплавком. Течение здесь быстрое, шагом не получается, только бегом. Каменистый берег, скалы и валуны, между которыми бьётся вода. Сухие камни вполне пригодны для бега, а до которых вода достаёт – эти мокрые и скользкие, иногда покрытые короткими, как мох, тёмно-зелёными водорослями.

Став взрослым, он возвращался воспоминаниями в детство и ловил себя на мысли, что судьба хранила его. Студёная вода, где льдины не были редкостью ещё в начале мая, быстрое и мощное течение, способное сдвинуть порожний грузовик, как это было однажды, скользкие камни и бег без оглядки по этим камням вслед за мчащимся вперёд поплавком, когда нельзя остановиться, просто некуда поставить вторую ногу, когда в голове одна только мысль: не упустить момент, когда стремительная форель по-особому утянет поплавок вниз, и сразу видно, что это не водоворот, это форель. И когда рыба упруго бьётся на том конце лески, когда хватаешь её свободной левой рукой, снимешь с крючка и бросаешь на дно пустой пока противогазной сумки, чувствуешь, что живёшь не зря. Форель здесь некрупная, с ладонь или чуть больше, но какая красивая! Серебристо-белое брюшко, бока серебристые, постепенно темнеющие кверху, тёмная зеленовато-синяя спинка и в три-четыре ряда сине-красные точки по бокам.

Время от времени ему, давно уже не молодому человеку, снилась эта погоня за поплавком. Он мчался по камням, поплавок то показывался на границе пенного облака, то исчезал в нём, а он терял чувство поклевки, и не мог понять, есть там форель или нет. Потом он переставал думать об этом, потому что возникало ощущение чего-то более важного, просто нужно было добежать. А он утратил тот,

казалось, неубиваемый детский инстинкт следующего точного прыжка, каждый прыжок казался ему последним, но не прыгать он не мог. Камней не видно, только беснующаяся вода кругом, пена и почти осязаемый шум. Прыжок, прыжок, куда теперь? Прыжок... Всё, впереди только вода, а он уже прыгает. Куда?! Он просыпался один в скомканной постели мокрый от пота. Он давно уже жил так. Куда?..

Когда мальчишки делали привал, ведь даже им, неугомонным, невозможно было выдержать без передышки пятикилометровый бег по камням за поплавком, они обычно перебирались на другую сторону железнодорожной насыпи, где начинались лесистые предгорья и местами встречались маленькие стоячие озера, в которых водились лягушки, какие-то мальки и небольшие щучки. Здесь разводили костерок, на веточках жарили пойманную форель и неторопливо рассуждали о рыбалке и о жизни. Уходя, обязательно оставляли в сухом месте под корягой завёрнутые в кусок клеёнки спички и соль - «охотнику». Когда к вечеру мальчик возвращался с рыбалки домой, он отдавал улов матери, и та жарила рыбу для всей семьи.

Военный городок располагался в небольшой долине на левом берегу реки по другую сторону от железной дороги, а на узенькой береговой полоске между рекой и железнодорожным полотном беспорядочно стояли несколько домов и домишек коренных жителей этих мест, окруженных картофельными огородами. Два десятка сборно-щитовых двухэтажных финских домов военного городка, на две семьи каждый, стояли в два ряда, разделенные неширокой грунтовой улицей. Сразу за домами начиналась большая поляна, на которой было устроено примитивное футбольное поле с воротами без сеток, за ней высохшее болото, на котором росли брусника, черника, голубика и какой-то низкорослый кустарник, а дальше круто вверх уходил поросший березняком и осинником склон большой горы. Верхушка горы была срезана, там в прошлую войну был оборудован грунтовый аэродром, который давно уже бездействовал. Вот где было раздолье для мальчишек! Штурмовики, что когда-то базировались здесь, давно порезали на металлолом, но вывезли не всё. То тут, то там были сложены части боевых самолётов. Было так славно забраться в кабину стрелка-радиста, казавшуюся мальчику необычайно просторной, и представлять, как за толстым плексигласовым окном проносятся облака, и зорко вглядываться вдаль, чтобы вовремя увидеть



врага. У каждого уважающего себя мальчишки в доме хранился удобный большой, слегка выпуклый, лёгкий и прочный кусок обшивки хвостового оперения, на котором было так здорово кататься зимой с горы хоть одному, хоть компанией! Куда там санкам!

Как-то летом из областного центра приехали авиамodelисты. Они расположились на краю аэродрома и по очереди запускали в небо свои модели. Мальчишки быстро проведали об этом и по известной им тропе шумной ватагой бегом ринулись вверх, на аэродром. Да, всё именно так и было. Это были такие же мальчишки, как и они, может быть, чуть постарше. Кто-то запускал простенький планер, который от сильного толчка плавно взлетал вверх, делал небольшую горку и долго-долго спускался потом на твердое песчаное покрытие аэродрома. Кто-то накручивал тугую резину внутри фюзеляжа, готовя к полёту резиномоторный самолёт, два мальчика постарше заливали метанол в крохотные баки кордовых самолётиков, потом принялись запускать их малюсенькие двигатели, дёргая двумя пальцами за узкий пластмассовый пропеллер. Один запустился сразу, затарахтел пронзительно и тонко, задымил, потом заработал ровно и уверенно. Чуть погодя, завёлся и второй. Мальчишки привязали к хвостам своих самолётов ленты, красную и синюю, встали спина к спине и подняли машины в небо. Самолеты летали по кругу, то взмывая вверх, то круто опускаясь почти до самой земли, пытались пропеллером срезать ленту противника. Это было незабываемое зрелище. Здешние мальчишки слышали о таком, но никогда не видели воочию. Одна довольно большая модель планера приземлилась неудачно, очень круто пошла вверх после толчка, завалилась назад и рухнула на землю. Крыло оторвало от фюзеляжа, бумага на тоненьких нервюрах местами порвалась, ажурные деревянные части тоже кое-где сломались. Хозяин планера взял его останки в руки, резинкой скрепил крылья и фюзеляж и протянул его мальчику: «Бери. Здесь подклеить нужно, папиросной бумагой обтянешь, крыло чуть подальше назад нужно переставить, вот так, отцентрируешь, - он показал как, - будет летать».

Мальчик заробел, отступил назад: «Это мне? Правда?»

Его приятель Вова тут же выступил вперёд: «Давай мне».

- «Нет, вот этому, кучерявому. Иди сюда, чего боишься?»

Мальчик собрался с духом: «Я не боюсь, давай...те. Спасибо».

Гордый и взволнованный шёл он домой, неся на вытянутых руках неудобную большую белую птицу.

Мальчишки шли позади и интриговали: «Отдай, всё равно не сможешь сделать, а у меня папка всё умеет».

- «А давай махнём, я тебе пачку патронов для мелкашки, а ты мне самолёт».

- «На кой они мне, своих – не перестрелять».

- «Ну, толовую шашку и взрыватели, хочешь?».

- «Нет».

- «Жид, жид, жид по верёвочке бежит...»

- «Пошёл ты...».

Зимы здесь суровые. Вот в сорока километрах к северу, в областном центре, зимой всегда градусов на пять-десять теплее, чем в их военной городке. Правда, там влажно, рядом океан, поэтому минус тридцать здесь переносятся легче, чем двадцать там, на берегу залива. С наступлением осени дни становятся короче, короче, пока не пропадают совсем. Вместо дневного света наступают светлые сумерки, в которые поздним утром превращается вчерашняя ночь и которые постепенно превращаются в следующую ночь. Здесь мальчик впервые увидел северное сияние. Как-то зимним вечером он выглянул в окно: по черному звёздному небу во всю его ширь горел холодный огонь. Светящаяся полоса опоясывала северную часть небосвода от края до края. Если присмотреться, полоса состояла из отдельных вертикальных штрихов-сполохов с размытыми краями, сквозь которые проступало чёрное небо. Сполохи перемещались вверх-вниз то медленно, то быстро, меняя при этом цвет от бледно-розового до бледно-сиреневого и зеленовато-голубого, и вся полоса от этого непрерывно изменяла свои очертания и цвет. Свечение было неярким, не таким, как светит луна, когда она в полной фазе, тени от этого свечения получались малозаметными и нечёткими. Мальчик накинул пальто, шапку, сунул ноги в валенки и выбежал на улицу. Здесь всё было гораздо ярче и интереснее.

- «Это океан в небе отражается», - со знанием дела произнёс за спиной семиклассник Володя, сын командира части, который тоже вышел посмотреть на небесный огонь. Мальчик задумался, что-то показалось ему сомнительным в этом

утверждении, но Володя был в авторитете, да и своих аргументов у мальчика не было.

*Так и не довелось больше увидеть эту красоту - северное сияние. Теперь уже не доведется. Жаль.*

Если летом мальчик всегда бывал в компании мальчишек, своих и местных, то долгими зимними вечерами, когда родители ещё не пришли, а на улице уже темно, в их доме собирались в основном девчонки. У соседа по дому, командира части, в которой служил отец, были двое детей: старший сын Володя, он жил своей обособленной жизнью, лишь иногда снисходя до общения с мелюзгой, и дочь Люся, на два года старше мальчика. К ней приходили подруги и вовлекали мальчика в свои игры. По крайней мере, лет с пяти до первого класса так оно и было. Они собирались в квартире у кого-то из детей и играли в куклы. Это были особые куклы, их рисовали на плотной альбомной бумаге, любовно раскрашивали цветными карандашами и затем аккуратно вырезали ножницами. Но это не главное. Главное начиналось потом. Для кукол придумывались удивительные наряды. Их рисовали отдельно на сложенных пополам бумажных листочках, из которых вырезались платья, юбки, блузки, пелерины, манто и прочая одежда и аксессуары к ней. Все детали прорисовывались необычайно тщательно. А потом начинались примерки, прикидки и прочие волшебные действия. Мальчику хорошо удавались платья и сарафаны из конфетных фантиков, а когда он изготовил изящный халатик из фольги от шоколадки, девочки навсегда приняли его как своего.

Когда ему было шесть, его задумали втянуть во взрослую жизнь. Первоклассница Дина, дочка сослуживца отца, как-то в сумерки пришла к нему в гости и предложила: «Давай в семью играть».

- «Давай, а как?»

Дина быстро разделась донага и забралась под стол. В комнате чуть брезжил свет от только что загоревшегося уличного фонаря на соседнем столбе, под столом было совсем темно.

- «Ползи сюда».

Мальчик на коленях подполз к ней: «Ну?».

- «Раздевайся».

- «Совсем?»

- «Совсем».

Ему было неловко, твёрдо от крашенных досок пола и холодновато.

- «Ложись рядом».

Он осторожно улёгся. От её пальцев ему было холодно и щекотно. Её маленькое белеющее в темноте тельце казалось ему странным и неуместным, как и его собственное. Что делать дальше, он не понимал, и ждал, мучаясь от неловкости и холода.

- «Ладно, теперь давай вот здесь походим, сначала я, потом ты».

Они по очереди походили нагишом по бледному пятну света посередине комнаты.

- «Всё. У нас была настоящая семья. Ты только не рассказывай никому. Нельзя».

- «Ладно, не расскажу».

Следующим кукольным вечером все девочки смотрели на них с Диной как-то особенно. Потом они увели её в соседнюю комнату, откуда всё время выглядывали по очереди, делали страшные глаза и говорили мальчику: «Не смей сюда заходить. Ты во всём виноват».

Он ничего не понимал и чувствовал себя не в своей тарелке. Происшедшее осталось в памяти далеким и странным видением.

В первом классе он впервые серьёзно влюбился. Её звали Фира, Фира Якиревич. Надо же – столько лет прошло, а вспомнил. Во всём их первом классе, да, пожалуй, и в старшем втором, не было другой такой красавицы. Большие карие глаза, тёмные волосы, заплетенные в две аккуратные косички, и два огромных белых банта невероятной красоты... Мальчик был сражен наповал. Наверно важным было и то, что девочка училась так же хорошо, как и он. Как покорить даму сердца, мальчик долго не мог придумать. Попытка была предпринята на новогоднем утреннике, когда школьники у ёлки разыгрывали для детей и родителей представление про репку. Мальчику досталась роль репки, которую все тянут-потянут. Дома они всей семьёй соорудили проволочный каркас, обклеили его бумагой. Получился большой и неровный, но лёгкий и даже прочный бумажный шар диаметром чуть больше метра. Бумагу потом раскрасили в жёлтый

цвет, истратив на это три набора медовых акварельных красок, сверху приклеили зелёную ботву из старой маминой юбки, снизу прорезали отверстие, чтобы внутри репы можно было забраться и переставлять ноги, когда по ходу пьесы нужно перемещаться. Хотели прорезать ещё одно отверстие сверху для головы, но оказалось, что репа великовата для мальчика, и голова и ноги одновременно оказаться снаружи не могут. Пожертвовали головой. На всякий случай вырезали по диаметру репы несколько отверстий размером с пятак, чтобы не заблудиться на сцене. Когда началось представление, мальчик вдруг понял, что не может найти ни одного отверстия, через которые можно было бы сориентироваться. Внутри было жарко, душно и темно, только снизу пробивался неясный свет, да были видны красно-коричневые доски крашеного пола школьного спортзала. Мальчик внимательно прислушивался к тому, что происходило снаружи...

- «Посадил Дед репку. Выросла репка большая-пребольшая...»

Репка неуверенно появилась из-за занавеса, приподнялась, это мальчик, сколько мог, подтянул на себе овощ кверху. Зрители оживились, кто-то засмеялся, кто-то захолопал. Мальчик приободрился, сделал ещё пару шагов. Кто-то, кажется, Дед, громко прошептал прямо в жёлтый бок: «Стой! Ты куда?»

...«Тянут-потянут, вытянуть не могут», - мальчик присел на корточки и не давался упорной семейке там, снаружи. Но тут к ним присоединилась мышка, и уставший и вспотевший мальчик сдался. Репка завалилась набок, вся семейка тоже. Мальчик внутри репы пытался встать, но не мог. Потом он начал искать выход, нашёл и медленно-медленно, пятась, выполз наружу. Хохот в зале стоял невероятный. Громче всех смеялась кареглазая девочка с огромными красивыми белыми бантами в аккуратных косичках, сидящая в первом ряду. Она покатывалась со смеха, показывала изящным пальчиком на потного, красного мальчика, выбравшегося из неудобного овоща. Так и закончилась эта неразделенная любовь. А что же мальчик? Женщины коварны и опасны – раз, никогда не давай повода смеяться над собой – два, вот что он понял и принял к сведению.

Школа, в которой мальчик учился до окончания пятого класса, находилась в посёлке при кирпичном заводе – это прямо напротив военного городка на противоположном высоком берегу реки. Она здесь заметно расширялась и становилась глубже, от берега до берега было метров сто двадцать, течение замедлялось, но оставалось достаточно быстрым. Единственный мост, по которому

ходили и поезда, и машины, и пешеходы, был в полутора километрах вниз по течению, так что осенью и весной до школы нужно было идти пешком три километра, из которых полтора по шпалам, а зимой сто пятьдесят метров по льду. В апреле начинало пригревать солнце, на скатах крыш появлялись сосульки, с которых в полдень по каплям неторопливо стекала талая вода, от чего под ними образовывалась скользкая неровная наледь, а сами сосульки росли, росли и иногда с грохотом срывались вниз, рассыпаясь на крупные и мелкие льдинки. На реке темнел слежавшийся снег, который в изобилии намело на лёд за долгую зиму. Днём снег подтаивал и оседал, обнажая местами гладкую мутно-молочную ледяную поверхность. Протопанные за зиму тропинки как будто приподнимались надо льдом. На стремнинах лёд был темнее, сквозь него уже можно было увидеть реку. Местами вода находила путь вверх, прорывалась сквозь промоины на лёд, мчалась какое-то время по его поверхности, смывая старый снег, и снова уходила в реку в следующую промоину.

Этим утром дети последний раз в этом году пошли в школу напрямик по льду. Вчера лёд был уже мокрый, местами снизу пробивалась вода, и было ясно, что становится опасно. Когда закончились уроки, все пошли домой круговую. В этом тоже была своя прелесть, можно было договорить недоговоренные разговоры, поглазеть на мост, который они не видели целую зиму. В общем, открытие сезона. Мальчик задержался в школе, дорисовывал заголовок стенгазеты. Когда он вышел на улицу, все уже ушли. Было часа четыре пополудни, солнце уже не пригревало как днём, до моста было далеко, попутчиков не предвиделось. Мальчик подумал одно мгновение и пошёл вниз к реке. У берега всё было как обычно, тропинка незаметно выходила с суши на лёд, который здесь был толстый и прочный. Он шёл и шёл по тропинке, пока не почувствовал, что стало скользко. Он осмотрелся. Тропинка чуть возвышалась над окружающим её льдом, а поверх льда тонким прозрачным слоем стояла вода. «Ну это не страшно, хотя откуда она?» - подумал мальчик и пошёл дальше. Он прошёл ещё десятка два шагов и увидел откуда. В пяти метрах впереди тропинку пересекал поток воды шириной метра три-четыре. Поток этот начинался шагах в тридцати выше по течению, там образовалась промоина, и вода нашла путь на волю. Поток шёл поверх ледяного покрова и уходил куда-то далеко. Было немного странно видеть текущую по льду реку, странно ещё и потому, что шумная летом река была сейчас абсолютно безмолвна, лишь иногда слышался тихий шорох снега, увлекаемого течением. Мальчик

остановился. Нужно было поворачивать назад. Он оглянулся. Далеко позади виднелся высокий берег, к нему тянулась извилистая тропинка, окруженная вначале тёмным блестящим льдом, а дальше серым слежавшимся снегом. Он посмотрел вперёд. Он уже почти дошёл, до берега оставалось метров тридцать, а ещё на берегу показалась мать. Она быстро шла по тропинке, вот она спустилась на лёд, ещё немного и она подойдёт и поможет. Мальчик больше не раздумывал. Он шагнул вперёд, навстречу маме. Воды было немного, но она текла довольно быстро, а главное, лёд под ней был очень скользкий. И ещё, теперь её стало слышно. Вода с лёгким журчанием обтекала его ноги, обутые в новые резиновые сапоги с мягкой красной байковой подкладкой. Она доставала сначала до щиколоток, потом до середины сапог... Мальчик поскользнулся, в ранце за плечами брякнули карандаши в деревянном пенале. Он чуть не упал, но удержался и остановился. Мимо быстро текла холодная безразличная серая вода и где-то там, далеко справа, она опять уходила под лёд. Мальчик представил себе, как поток ныряет в большую полынью, а дальше лёд, лёд, лёд и больше ничего. Ему стало холодно и страшно. Он боялся пошевелиться, а оставалось ещё несколько шагов до края водяного потока. Там уже стояла мама. Она что-то спокойно говорила ему, но он ничего не слышал. Он хотел повернуться и пойти назад, но не смог сделать и этого.

- «...койся. ...уда», - услышал он. Он оторвал глаза от воды и посмотрел на маму. Она манила его к себе медленными движениями обеих рук и смотрела прямо ему в глаза. И он решился. Медленно, не отрывая подошвы ото льда, он передвинул левую ногу на один шаг вперёд. Замер. Медленно передвинул правую. Замер. Левую. Ещё немного. Почти дойдя до мамы, он поскользнулся и упал в воду, но это было уже не страшно. Течения здесь не было, просто вода разлилась. Мама подхватила его, прижала к себе.

- «Всё, всё, всё, всё, всё...», - повторяла она, легко поглаживая его по затылку под сползшей на глаза офицерской шапкой, и эти короткие слова, повторяемые скороговоркой, вдруг вернули его на восемь лет назад. Он снова увидел утопающий в клубах белого пара огромный бок проплывающего мимо паровоза и белозубую улыбку молодого машиниста.

- «Всё хорошо», - сказал он маме и погладил её руку. Мама вдруг закрыла лицо руками, села на снег и заплакала, а он стоял возле неё и не знал, что делать, и повторял: «Всё, всё, всё, всё...»

Он всегда прекрасно учился. Семь очень разных школ – обычная доля офицерского сына, живой характер, интерес к учению и растущее честолюбие – что ещё нужно для хорошей учёбы? Эта школа была новая, двухэтажная с просторными классами и спортивным залом, где проводились торжественные линейки, а в ненастье и особые холода – и занятия по физкультуре. Зимой, если температура снаружи опускалась ниже тридцати, занятия в школе отменяли и учеников отпускали по домам. Такие дополнительные выходные в январе и феврале бывали нередко. Если назревала трудная контрольная или нелюбимый урок, а на улице, как назло, было только двадцать семь, то чернильницы-непроливашки выставлялись на широкий подоконник поближе к заиндевевшему стеклу, чернила в них немедленно и надолго замерзали. Урок срывался. Мальчик обычно выступал организатором таких маленьких диверсий, было в нём авантюрное начало. Сам он не боялся никаких контрольных, но извечная борьба за первенство требовала поступков. Учился он лучше всех в классе. Это признавалось всеми, но для первенства этого было мало. Он не очень умел, а поэтому и не любил драться, хотя по нужде встречал в потасовки, которые заканчивались синяками, ссадинами, а иногда и оторванными рукавами, что, впрочем, порицалось участниками драк, поскольку и победителям, и побеждённым одинаково доставалось в таком случае от рассерженных родителей. Он хорошо бегал на лыжах, в пятом классе уже имел юношеский спортивный разряд, но его товарищ из местных Вова Мамонкин бегал на лыжах чуть-чуть лучше, и хотя мальчику иногда удавалось выиграть у него на соревнованиях, чаще всё же бывало наоборот.

Вспомнилось вдруг, что какое-то время в школе на стене коридора первого этажа в числе прочих висел его цветной карандашный рисунок: справа налево через весь альбомный лист мчится маленький лыжник. Не так давно он побывал в областном центре на Празднике Севера и остался под впечатлением мощного бега великих Павла Колчина и Николая Аникина. Его лыжник острыми локтями и коленками был больше всего похож, пожалуй, на Буратино из книжки, но учитель рисования, плотный бритоголовый мужчина, похвалил его: «Есть экспрессия». Он и



сам, глядя на лыжника, чувствовал: бежит. Как же звали того учителя? Откуда-то всплыло имя Георгий Мефодиевич. Или Григорий Мефодиевич? Как же его звали? Увы. Никто и никогда не скажет этого. Никто и никогда. А ведь кто-то знает ответ, это же чей-то отец, дед, прадед... И никому невдомек, что совсем чужой немолодой человек, который был когда-то маленьким подвижным мальчиком, вспомнил вдруг об учителе рисования из далекого северного поселка и ещё более далекого прошлого.

В тот раз они отдыхали с Вовой на берегу реки около городка. Сидели на камнях и пытались раскурить самокрутки из старых берёзовых листьев. Река здесь уже замедляла своё течение и расширялась. Первое мая, праздник. Три недели назад мальчику исполнилось одиннадцать. На высоком противоположном берегу в негустой берёзовой рощице, подёрнутой нежно-зелёной дымкой только-только проклевывающейся листвы, на редкой свежей травке расположился заводской рабочий люд, виднелись несколько лотков с выпечкой, конфетами, вином. К бочке с пивом выстроилась небольшая очередь с кружками и разнокалиберными банками. Пригревало солнце, как оно может пригревать за полярным кругом в начале мая: правой щеке тепло, левой холодно. Ледоход закончился неделю назад, хотя временами мимо них, покачиваясь, быстро проплывали маленькие грязноватые льдины откуда-то из верховий.

- «Сплываем?», - вдруг спросил мальчик.

- «Чокнулся?»

Мальчик быстро разделся до трусов и по скользкой гальке пошёл в воду. Сначала было вполне терпимо, потом, когда вода дошла до трусов, и они намокли, стало очень холодно. Он оглянулся, Вова стоял у самой воды и махал ему, давай, мол, сюда. Мальчик прощально отмахнулся и поплыл. Вода была ледяная, но дыхание не перехватывало, и он терпел. Мальчику вдруг вспомнилось, как прошлым летом они плыли с папой через Оку, он начал грести брассом ровно и экономно, чтобы хватило сил. Краем глаза он видел, что на той стороне несколько женщин подошли к берегу и что-то кричали ему, но было не до них. Течение оказалось сильнее, чем он ожидал, его здорово сносило, метрах в трёхстах внизу река расширялась, там было очень глубоко, а течение выносило прямо на стремнину, и это было бы уже по-настоящему опасно. Мальчик перестал экономить силы и начал грести сильнее и сильнее. Наконец, он почувствовал, что

течение слабеет, поднял голову и увидел, что берег рядом. Он опустил ноги и нащупал каменистое дно. Он победил! Мальчик выбрался на берег, по скользкой тропинке прошёл метров сто вверх и вышел в ту самую берёзовую рощицу, где народ отмечал пролетарский праздник. На его появление никто не обратил внимания, тех женщин, что кричали ему с берега, здесь не было. Жалко, что не было видно одноклассников, ну да ладно. Его потряхивало от пережитого и от холода, он подсел к одному из костерков, вокруг которого расположились подвыпившие люди. Полная весёлая женщина подвинулась и освободила ему место, оглядела его, дрожащего, в мокрых трусах: «Грейся».

Обратно он добирался тем же путём. Мелькнула было мысль пойти круговую пешком. Но он представил себе эти полтора километра до моста, потом по мосту, потом полтора километра обратно по шпалам. И всё это нагишом, в мокрых трусах... Нет уж.

Вова ждал его у одежды, только сказал полувопросительно: «Не утонул?»

С этого дня он стал относиться к мальчику с уважением. Родители узнали о заплыве спустя неделю. Кто-то видел и рассказал. Мать плакала, отец молчал, но мальчик заметил, что у него дрожат губы. Много лет спустя, став отцом, он понял, что они пережили тогда.

Сегодня мальчик рыбачил один. Он начал после полудня у военного городка напротив своей школы и медленно брёл по берегу за поплавком, увлекаемым небыстрым здесь течением. Клевало неважно, но было лето, каникулы, и заняться было нечем. Часам к пяти он дошёл до моста, вытащил снасть, заглянул в сумку. Там были штук пять форелей и маленький сиг. Он присел на камень. Высоко над головой по мосту прошёл маневровый тепловоз с десятком пустых, судя по перестуку колёс, вагонов, потом проехал грузовик. Неожиданно рядом с камнем, на котором он сидел, мальчик увидел папиросную пачку. Восходящее солнце, белые лучи из-за голубого горизонта. Север, самые популярные здесь папиросы. Мальчик взял в руки пачку, повертел. Она была чуть влажная, но главное, непочатая. Это же богатство! Он надорвал пачку с угла, вытащил оттуда папиросу, закурил. Затягиваться мальчик не умел, но подымить любил. Выкурил одну, прикурил от неё вторую. Выкурил её, принялся за третью. Остановился он, когда в пачке осталось штук десять папирос. Он вдруг почувствовал себя плохо. Здорово тошнило. Он ладошкой зачерпнул воды, прополоскал рот, зачерпнул ещё, выпил

пару глотков. Его рвало долго, минут десять. Было так плохо, что он, кажется, потерял сознание. Прошло время, пока он пришёл в себя. Было плохо, но терпимо. Рядом с собой мальчик обнаружил намокшую пачку, скомкал её и бросил в воду. Светлый квадрат медленно поплыл, покачиваясь, и вскоре исчез то ли в тени моста, то ли в наступающих летних сумерках. Он собрался с духом, взял удочку и сумку и пошёл домой. Этот перекур был последним в его жизни, больше он не курил никогда.

Жизнь в небольшом военном городке особенная. Конечно, городок не был совсем отгорожен от внешнего мира. У его обитателей были товарищи и друзья из гражданских. На том берегу при кирпичном заводе был дом культуры, там была совсем другая жизнь. Неженатые, а может, и женатые офицеры и старшины-сверхсрочники находили постоянные или временные симпатии на стороне. Бывали в городке и свадьбы, когда эти симпатии перерастали в любовь. Жизнь есть жизнь. Но в основном она протекала внутри этого особого мира – военного городка. За долгие годы службы устанавливались товарищеские, дружеские или неприязненные и даже враждебные отношения. Всё на глазах. Коллектив небольшой, с утра до вечера на виду друг у друга, общая служба, общие цели, общая судьба... А поздно вечером – домой к семье в уютный двухэтажный финский дом, где квартировали по две офицерские семьи или по четыре офицера-холостяка – по числу спален в доме. Дружили семьями и домами. Офицерские жёны работали кто вольнонаёмными машинистками и секретарями в части, кто продавцом в гарнизонном магазине, кто по специальности в посёлке за рекой. Мама мальчика работала учителем, а потом и завучем в той школе, где он учился. Это сильно стесняло, потому что налагало суровые ограничения на его активность. Приходилось мириться. Когда его энергия всё же реализовывалась в очередном озорстве, его вызывали в кабинет к директорисе, где та отчитывала его строго и последовательно, а печальная мама сидела рядом с ней и то пристально смотрела на него, то хмурила лоб, опускала глаза и задумывалась о чём-то.

Об изменах в офицерских семьях он не слышал. Были неясные разговоры о страданиях какого-то молодого лейтенанта, чья юная жена не доехала до городка из Ленинграда, вернулась домой к родителям. Просто те, которые доехали, сделали это осознанно и уже ничто не могло оторвать их от семьи, тяжёлой и малоинтересной жизни в затерянном военном городке, где мужья в шесть утра

начинали собираться на службу, а возвращались затемно грязные, запыленные или заиндевелые в зависимости от времени года и всегда усталые вне зависимости от него. Молодые офицеры подшучивали с вызовом и пониманием, что всё равно всё будет хорошо: «Как надену портупею, так тупею и тупею». Офицеры со стажем так уже не шутили, воспринимали это как факт биографии.

Под началом замполита женщины группировались в разные кружки по интересам. Мальчику очень понравился концерт хора в клубе под Новый год. Мама стояла в первом ряду в нарядной белой крепдешиновой блузке, тёмно-синей плиссированной юбке, тонких капроновых чулках и изящных туфлях на высоком каблуке. Она была очень красивая.

- «Стоит берёза на бугре и кажется невестою, а соловейка на заре поёт ей песнь известную», - на три голоса выводил хор. Черноволосый красавец военврач, сидя на табурете перед хором, ловко перебирал длинные клавиши перламутрово-красного аккордеона, роскошный звук которого навсегда покорила сердце мальчика.

Зимой в части проводились разные спортивные соревнования, в которых участвовали и члены семей. Мальчик любил бегать на лыжах и стрелять. Лыжные гонки устраивались отдельно для солдат и офицеров, и мальчик участвовал в обеих. В солдатских соревнованиях на три километра он нередко выигрывал, пока в части не появился солдат-перворазрядник. Остальные бойцы ходить на лыжах практически не умели, да и амуниция у них не шла ни в какое сравнение с ухоженными лакированными беговыми с зелёными ёлочками на круто загнутых носках лыжами одиннадцатилетнего гонщика. С офицерами было посложнее, товарищ отца, старший лейтенант дядя Володя Коваленко, бегал на лыжах профессионально. Да и отец тоже был неплох, в юности у него был спортивный разряд. Но те же три километра мальчик всегда пробегал успешно. Вот на пять его не хватало.

А на стрельбище они с мамой нередко были впереди всех. Он помнил свой результат и гордился им: девяносто шесть очков на пятьдесят метров ординарными малокалиберными патронами. Малокалиберная винтовка была практически в каждой семье, а где-нибудь на полке в шкафу под бельём лежали десять-пятнадцать увесистых маленьких пачек, в каждой из которых столбиками вверх-вниз стояли плотно упакованные патроны, пятьдесят штук. У них была ТОЗ-8,

тяжёлая однозарядная винтовка с диоптрическим прицелом – сложной комбинацией из винтов, перемещающихся планок, шкал и калиброванных диафрагм. Стоя мальчик не мог стрелять из неё вообще, она была слишком велика и тяжела для него. А вот лёжа... Он выдыхал, как его учили, соединял в одну линию глаз, прицел и мишень, замирал и аккуратно нажимал спусковой крючок. Есть! Предметом его зависти была короткая лёгкая винтовка ТОЗ-16 у одного из его старших товарищей. Они время от времени брали её с собой, на охоту, как они говорили. Впрочем, стрелять по воронам у них не было никакого интереса, а песца, которого они увидели как-то на сугробе метрах в тридцати, подстрелить не получилось. Едва товарищ медленно потянулся рукой к прикладу винтовки, висевшей у него за спиной, песец исчез навсегда. У северного песца своя школа жизни.

Зато стрелять по бутылкам было одно удовольствие, настоящее мужское дело. Пустые бутылки укладывали на вершину сугроба метрах в тридцати-тридцати пяти так, что они смотрели горлышками навстречу стрелкам. Задача – выбить сквозь горлышко дно бутылки. Здесь тяжёлая с длинным стволом ТОЗ-8 давала фору любому другому оружию. Вот в отверстии прицела появляется маленький размытый зеленоватый кружок, нужно подвести срез мушки точно под центр этого кружка, который скорее угадывается, чем существует, и мягко-мягко потянуть спусковой крючок. Выстрел, звон и неприятный визг улетающей вбок деформированной свинцовой пули. Не попал. В бутылку-то пуля, разумеется, попала и сбросила её с сугроба, но это не в счёт. Следующая мишень. Срез прицела по центру размытого зелёного кружка, мягко потянуть спусковой крючок. Выстрел, хлопок, как лёгкий взрыв, зелёные брызги. Попал. Удача здесь бывала, нечасто, но всё же бывала.

Когда мальчику шёл восьмой год, их семья увеличилась на четверть, у мальчика появился брат, спокойный и задумчивый ребёнок. В ползунковом возрасте он, если удавалось дотянуться, проворно ловил мух на оконном стекле и, если не досмотреть, старался сразу попробовать их на вкус. Мальчику часто приходилось оставаться в доме за старшего, когда отец был на службе, а мать на работе. Семь лет – это уже очень большая разница в возрасте братьев, чтобы они чувствовали неразрывную родственную близость, особенно когда одному год, а другому восемь, а восемь – это ещё слишком рано, чтобы осознавать

ответственность за себя и за брата. Они росли и развивались, каждый в своём мире, соприкасающемся, но почти не пересекающемся с миром другого. И лишь с возрастом, когда у них уже были взрослые дети, оба начали осознавать, что спина к спине – это единственно возможная родственная позиция в огромном и всегда враждебном мире. Во всяком случае, так ему думалось.

Заполярное лето. В четыре часа утра солнце самым краешком показывается из-за правого склона сопки длиной в полгоризонта и начинает свой путь. Белесое утреннее небо постепенно становится блекло-голубым, ты ждёшь, что оно вот-вот станет ярче и поглубеет окончательно, но нет, у природы здесь как будто закончились яркие краски. Солнце катится и катится с востока на юг, чуть поднимаясь к полудню над земной твердью, а потом так же медленно снижается с юга на запад и часам к одиннадцати вечера исчезает за той же самой сопкой, продолжая освещать оттуда недостижимо высокие перистые облака неярким розоватым светом. Ночи здесь действительно белые и нет в них того романтического флера, что присущ сиреневым питерским белым ночам. Светло и всё.

Ближе к осени становится дождливо. Дождик начинается под утро. Ещё вчера день был светлым и неярко-солнечным, но к вечеру горизонт на закате немного темнеет, и солнце, заходя за сопку, высвечивает золотым и розовым край далёкой тёмно-серой тучи. Утром всё небо уже одинаково серое, иногда под этим толстым серым покрывалом медленно перекачиваются обрывки белых облаков, постоянно меняя форму, иногда цепляясь за верхушки высоких елей, уменьшаясь в размерах и, наконец, исчезая в однородной серой массе. Идёт чуть косою дождь, некрупный, несильный, но бесконечный во времени и пространстве, навевающий своей монотонностью тяжёлую хандру. Мокнут деревья. Берёзы припускают ветви, покорно подставив желтеющие резные листья бесконечным каплям дождя. На их белых стволах яснее проступает тёмный рисунок: намкнув, коричневые и серые пятна, штрихи и линии на бересте становятся почти чёрными. Серо-зелёные, а кое-где уже жёлтые и красные листья осин вздрагивают от капель дождя, как будто стараются увернуться от них. Бесполезно. Долго держатся ели. Капли застревают в их плотной хвое, но постепенно вода находит дорогу вниз, и вначале с крайних лап, а потом всё ближе и ближе к стволу крупные капли, вобравшие в себя несколько дождевых капель, падают на рыхлый ковёр из сухих игл, переворачивая

и сдвигая их. Наполняются водой неглубокие колеи на улице и становятся длинными ровными лужами, стены домов, обшитые струганными досками, из серо-охристых становятся тёмно-серыми. И только кирпично-красные черепичные крыши остаются яркими и неуместно праздничными.

Той зимой отцу присвоили очередное воинское звание – майор. Второй этаж дома, где они жили, на субботний вечер превратился в банкетный зал. В обеих комнатах накрыли столы: винегрет, оливье, солёные огурцы и помидоры, сало с мороза, и, конечно, пельмени на горячее. Особое место на столе занимали грибы. Собранные осенью, они солились, мариновались, сушились в огромных количествах, но к следующей осени съедались все без остатка, очень уж были вкусны. Грибов вокруг было так много, что порой выходили не по грибы вообще, а за подосиновиками, волнушками, опятами – на конкретный гриб. Особенно хороши были подосиновики, крепенькие, на короткой мясистой ножке с ровной круглой шляпкой кирпичного цвета. Они сразу синели на срезе. Впрочем, на их качестве это никак не сказывалось. Подосиновики в основном мариновались с лавровым листом, черным душистым перцем, иногда солились. Подберёзовики внешне чем-то похожи на подосиновики, только шляпка у них коричневая, тёмная или светлая. Эти иногда вырастали до гигантских размеров, но крупные особи обычно оказывались червивыми. Подберёзовики главным образом жарились с картошкой и луком, иногда со сметаной. Выходило очень вкусно. Ценились розовые круглые волнушки с размытыми кольцами на ровной, покрытой белесым пушком, шляпке, похожими на годовые кольца на свежем древесном срезе. Отобранные по размерам, волнушки солились и к началу зимы они уже были готовы. Вкус как у груздей, только, пожалуй, помягче. Опята, которые детьми с опаской игнорировались, поскольку были, на их взгляд, сродни поганкам, оказывались необыкновенно вкусны в супе и на сковороде.

На столе, разумеется, стояло спиртное: несколько полулитровых белоголовых бутылок столичной для высшего офицерского состава – нескольких майоров и обоих подполковников, и медицинского спирта в количестве, достаточном, чтобы удовлетворить все немалые потребности. Для дам было красное вино в бутылках тёмного стекла. Правда, вино было мало востребовано. Наверху собрались господа офицеры с жёнами и без, внизу дети, на улице была зима, а значит, мороз под тридцать, заиндевелые стёкла просторной веранды, где повсюду были разложены

противни с замороженными пельменями, лохматый овчар Джек, поблескивающий глазами из заваленной снегом будки. Наверху было шумно, там слышались тосты и громкое «ура», по двухпролётной лестнице время от времени, держась за перила, спускались взрослые, накидывали белые офицерские полушубки, сложенные под лестницей у тесной вешалки, и выходили на улицу покурить и подышать. Мальчик поднялся наверх.

- «Заходи, сынок. Поздравь отца, папка твой далеко пойдёт», - сказал захмелевший замполит, налил отцу из большого сильно початого графина полстакана спирта и бросил туда большую жёлтую майорскую звезду, которая лежала на столе, похоже, специально для такого случая. Отец, уже изрядно навеселе, приподнял бровь, усмехнулся, скрестил руки за спиной, потянулся лицом к стакану, ухватил его за край зубами, приподнял и, не отрываясь, выпил спирт, проливая его на подбородок и за ворот расстёгнутой гимнастёрки с новенькими погонами с двумя голубыми просветами. Потом с шумом поставил гранёный стакан на стол и продемонстрировал гостям мокрую звезду на кончике языка. Такого мальчик никогда прежде не видел. Замполит вылил из стакана остатки спирта, несколько капель, в пустое грязноватое блюдце и чиркнул спичкой. Спирт занялся прозрачным синеватым пламенем, и все нестройно грянули очередное «ура».

К полуночи хватились удалого старшего лейтенанта Хандожко, кто-то видел, как он час назад в кителе и носках вышел проветриться. Когда за окном минус тридцать, до соседнего дома в таком обмундировании ещё можно добежать, а дальше вряд ли, это было очевидно. Высыпали на улицу и обнаружили старшего лейтенанта лежащим у будки в обнимку с собакой, огромного овчара Джека он затащил на себя как одеяло и цепко держал его за ошейник одной рукой и где-то в районе лохматой талии – другой. Хандожко мирно спал. Потом ему полгода поминали Белое безмолвие, Белого Клыка, прекрасную скво Лабискви и прочих персонажей великого американского алкоголика, а кто-то пустил слух, что на шее Джека обнаружили следы человеческих зубов. Впрочем, это было явной неправдой.

Спустя много лет он вернулся в тот далёкий северный военный городок. Как легко это сделать теперь! Щёлкаешь мышью на значке Google Earth, красивый зелёно-голубой земной шар на плоском мониторе начинает медленно вращаться



на фоне тёмно-тёмно-синего звёздного неба и останавливается в ожидании: ищи. Вот полуостров, опустимся поближе... Вот Shongui на берегу неширокой речки. Опустимся ещё, насколько позволяет разрешение отснятого из космоса изображения. Вот, вот, вот... Какая-то промзона на правом берегу, кажется, это тот самый кирпичный завод, из него выходит железнодорожная колея, вот мост через реку. Это под ним он нашёл тогда мокрую непечатую пачку папирос и выкурил их? Точно, здесь. А вот это, наверняка, его школа. Фасад, левое крыло, правое крыло. Вот здесь морозным утром ставил он чернильницу-непроливашку на широкий белый подоконник поближе к раме, чтобы замёрзли чернила и можно было понуть и уговорить учительницу отменить занятия. Точно, здесь. А вот то место, где мама встречала его, бредущего домой через вырвавшийся на поверхность тающего льда поток воды. А вот здесь военный городок, где так давно жили они дружной семьёй, где остались в далёком-далёком детстве его добрые друзья. Стоп. Где же он? Вот та большая поляна, на которой они играли в футбол летом и стреляли из мелкашки по бутылкам зимой. Вот это, наверное, подъём на заброшенный аэродром, сверху не очень-то разберёшь, склон горы это или просто зелёная поляна. А вот и сам аэродром, его-то точно ни с чем не спутаешь: поросшее желто-зеленой травой поле, но местами сквозь растительность явно видно песчаную поверхность, как же хорошо помнил он этот плотный песок и то тут, то там брошенные остовы штурмовиков. Да, это он. А финские домики военного городка исчезли. Как жаль. Как будто кто-то недобрый пробрался в потаенное место, которое он считал очень надёжным и в котором хранил самое дорогое, и взял оттуда всё, что приглянулось. Зачем?..

## Детство. Юг

А потом часть, в которой служил отец, перевели в Среднюю Азию. Эшелон уезжал в лютую зимнюю стужу. Отец написал им с мамой, что когда они приехали на место, то оказалось, что там нет снега, тепло, плюс двенадцать-пятнадцать, совсем как в Заполярье летом. А написал он потому, что мальчик с мамой задержались на севере. Мальчику нужно было закончить пятый класс, а маме полгода доработать завучем, работа ответственная, да и менять завуча в середине года было просто некем. После отъезда отца они съехали из своего замечательного обжитого коттеджа, так как в городке расквартировывалась уже другая воинская часть, и перебрались на полгода на съёмную квартиру в маленьком домике у реки по другую сторону от железной дороги. В домике жили большой светловолосый парень Павел и его мать. Павел недавно вернулся из армии, а ещё он великолепно бегал на лыжах. Мальчик любовался его узкими и лёгкими красными с перламутром ярвиненами, рядом с которыми его красивые чёрные хелюльские с зелёными ёлочками на круто загнутых носках заметно проигрывали. Впрочем, это уже не имело большого значения. Отец писал, что снега в тех южных краях почти не бывает, поэтому лыжи вряд ли понадобятся. В июне мальчик как всегда на отлично закончил пятый класс, мама уволилась из школы, четырехлетнему брату было и вовсе собраться-подпоясаться, и они поехали к отцу. Началась другая жизнь.

...Ах, какой же там виноград!.. На севере родители по особым случаям тоже покупали виноград. Он предназначался только детям. Это были твёрдые мелкие зелёные ягоды, собранные в небольшие плотные грозди. Виноградины были отчаянно кислыми и совершенно невкусными. Мальчик пару раз попытался заставить себя насладиться ими, как того явно требовали ждущие взгляды родителей, когда мать принесла из магазина килограмм невиданного лакомства, но из этого ничего не вышло. Черника и водянистая болотная морошка были не в пример вкуснее. Поэтому сейчас мальчик с сомнением оторвал длинную и тонкую белесо-зелёную ягоду от огромной кисти, лежащей на большом блюде посреди стола, и перекусил её пополам. Он на мгновение задумался, переживая полученное ощущение, потом съел оставшуюся половину и потянулся за следующей ягодой, съел и её, а рука уже тянулась за следующей.

- «Ты косточки-то выплёвывай, может аппендицит случиться».

Куда там! Выплёвывать было некогда. Как же вкусно!

- «Этот виноград называется Дамские пальчики». Мальчик приложил растопыренные пальцы к грозди. И действительно, ягоды были длинные, длиннее его пальцев, и ничуть не толще. Они были ровные, некоторые совсем чуть-чуть утолщались к концам.

- «А вот это Бычий глаз», - мама подвинула ему другую огромную кисть с крупными, размером с хорошую сливу, круглыми зелёными ягодами, - «Попробуй, этот без косточек». Эти ягоды были такими же вкусными, но пальчики понравились ему больше. Может быть, потому, что он попробовал его первым, кто знает. Бычий глаз, правда, оказался тоже с косточками, а вот маленький иссиня-чёрный кишмиш действительно был без косточек. Но он был таким сладким, что повторилась старая история со сгущенным молоком, произошедшая с ним пару лет назад ещё на севере.

А история та была такая. На севере офицеры кроме приличной зарплаты каждый месяц получали ещё и продуктовый паёк. Там были крупы, мука, сахар, соль, картошка, соленья и прочая неинтересная еда из расчёта, как казалось мальчику, на всю семью на месяц. Была там ещё дюжина банок сгущённого молока, и вот этого в пайке недоставало, просто катастрофически недоставало. Сгущёнка шла главным образом на крем для тортов, а поводы для тортов бывали всегда: Новый год, седьмое ноября, первое мая, а сколько дней рождения! Три-четыре банки сгущенного молока опускали в кастрюлю с водой, ставили кастрюлю на электроплитку и варили, варили, варили... С банок сначала отклеивались и всплывали в кипящей воде сине-белые бумажные обёртки, потом расползлся жёлтый клей, которым эти обёртки были приклеены к банкам, и когда банки вынимали, то оказывалось, что этот клей здорово испачкал кастрюлю. А то, что получалось в банках, уже не было сгущёнкой. Это была светло-коричневая масса, вкусная, конечно, но всё же сгущёнка в первоизданном виде была вкуснее. В тот раз отец привёз в обеденный перерыв несколько больших картонных коробок, поставил их одну на другую под лестницей и уехал в часть. Мальчик заглянул в верхнюю коробку и обнаружил там под матерчатými мешочками с крупой и ещё чем-то банки со сгущенным молоком. Он пересчитал их. Двенадцать штук. Очень захотелось сгущенки. Он подумал и решился, взял одну банку и раздвинул

остальные так, чтобы общая картина не сильно изменилась. Быстро сходил на кухню, взял маленький нож и пробил два плоских отверстия в крышке.

-«Эх, надо было вытереть сначала», - подумал он, когда из отверстий на грязноватую крышку вытекло густое сладкое молоко. Банка закончилась на удивление быстро. Было сладко и приятно. Он заглянул в другую коробку. Там оказались несколько пачек с нарисованными, как на шахматной доске, клетками, только неровно и некрасиво. Не попробовать сгущенки с печеньем показалось мальчику неправильным. Вторая банка закончилась тоже быстро. И по-прежнему было сладко и приятно. Он открыл третью... Вскоре стало понятно, что вторая была лишней.

Из всех открытых окон неслось: «Джама-а-а-айка-а...» Ангельски-чистый голос Робертино завораживал, трогал какие-то неосязаемые и невидимые струны и клавиши детской души, хотелось, чтобы песня не кончалась никогда. Она и не кончалась. Как только иголка тонарма пробежала всю звуковую дорожку большого чёрного пластмассового диска, её возвращали к началу вновь и вновь.

Когда ему, уже давно не мальчику, сорок пять лет спустя посчастливилось снова услышать этот голос, он осознал вдруг, что вся другая музыка, которую он слушал и слышал все эти годы, исчезла для него, остался только этот голос. Слушая его теперь, будучи зрелым и умудрённым опытом человеком, битым наотмашь беспощадной жизнью и за свои, и за чужие грехи, он ощущал, как подступали к глазам неожиданные слёзы, как оттаивало покрытое ледяной коростой больное сердце. Да, пятьсот лет назад обладателю этого голоса был один путь – на костёр.

Конечно же, это спорный вопрос. Кому-то нравится Шостакович, кто-то тает от Modern Talking, кто-то впадает в транс от Владимирского Централы. На вкус и на цвет, как говорится... Однако есть вершины, которые являются мерилom человеческой сути. Их немного. А есть вершины, которые недоступны рациональному восприятию, которые исчезают где-то там в пугающей бездне неба и можно лишь догадываться, как они высоки. Их мало этих вершин, единицы, как единицы тех, кому удалось подняться так высоко, что можно, заслонившись ладонью от слепящего солнца, увидеть их далёкие-далёкие пики, и уж совсем наперечёт те, кому посчастливилось приблизиться к ним на расстояние вытянутой руки.

Узбекистан. Кашкадарья. Узкие улочки с глинобитными домами за высокими непроницаемыми взгяду дувалами, утыканными по гребню осколками битого стекла. Если тебя ждут, то ты окажешься в маленьком дворе с чуть влажным, чтобы не пылил, чистым глиняным полом. Плотная тень от развесистого грецкого ореха или инжира. Часть двора занимает круглый бассейн-хауз, наполненный зеленоватой немного застоявшейся водой. Рядом с бассейном беседка с просторным низеньким столиком посередине и разложенными вокруг него одеялами. Крыши у беседки нет, её заменяют густо переплетенные виноградные ветви с большими шероховатыми узорчатыми листьями. Прямо над столом нависают огромные грозди нежнейшего сладчайшего винограда. На столе стоит большой фарфоровый чайник, белый в красный горох, вокруг него несколько небольших пиал, блюдо со свежими лепёшками. Женщина в расшитой бисером тюбетейке, лиловом халате, красных ситцевых шароварах и остроносых галошах на босу ногу в углу двора хлопчет у тандыра, поднимает железную крышку и с пылу с жару скребком снимает лепёшки в специальный противень. Под горячий чай, виноград и лепёшку неторопливо и раздумчиво течёт приятная беседа.

Учительница русского языка и литературы Елизавета Григорьевна была в шестом «А» классным руководителем. Лет под пятьдесят, в аккуратном сером костюме или чёрном крепдешинном платье в белый горошек и с белым воротничком, тщательно причесанная, припудренная, в больших очках. Был у неё один пунктик, очень любила она возвышенные слова.

- «Если имя тебе человек!.. - звенящим к концу фразы голосом говорила Елизавета Григорьевна, - ...Сейчас же прекрати вертеться и болтать». Получалось пафосно. Дети быстро подхватили почин. На переменах в многоместном грязноватом туалете в углу школьного двора можно было слышать: «Если имя тебе человек!.. Дай дёрнуть», - это один юный пионер просил у другого оставить ему затынуться бычком, найденным утром возле урны на автобусной остановке.

Как-то раз мальчик вступил с ней в профессиональный спор. Был пробный диктант.

- «Ряд станков без умолку грохочут», - тщательно выговаривала слова Елизавета Григорьевна. Мальчик поднял руку.

- «Да?»

- «Грохочет», - сказал мальчик.

- «Что?»
- «Ряд».
- «Нет, грохочут», - сказала учительница.
- «Подлежащее что? Ряд или станков?» - упрямо спросил мальчик.
- «Ряд», - ответила учительница.
- «Он один, значит, грохочет. Один ряд не могут грохотать все вместе», - сказал мальчик.
- «Грохочет не ряд, грохочут станки в ряду».
- «Я и говорю, станки грохочут».
- «Если имя тебе человек!..» - начала Елизавета Григорьевна,
- «Ряд один», - зло вставил мальчик,
- «Сейчас же выйди из класса», - закончила она.

Семантическая часть проблемы осталась невыясненной.

В память о школе остался и славный куплет на мотив модного Сент-Луис блюз:

«Наш школьный сторож Кадыр-ака  
За ухо тащит ученика», -

- бывало и такое - он улыбнулся и невольно дотронулся до своего левого уха, вспоминая низкорослого хромого дядюшку Кадыра в длинном черном чапане и черной ферганской тюбетейке с белым орнаментом.

Узбекистан – это хлопок. Даже лучшая футбольная команда республики называется Пахтакор – хлопкороб. Учебный процесс здесь устроен так: первого сентября в празднично убранных школьных дворах проводятся торжественные линейки, выступают аксакалы в официальных тюбетейках, чапанах, подпоясанных зелёными кушаками, и выглядывающих из-под чапанов мягких ичигах, вставленных в новые остроносые резиновые галоши, и начинаются занятия, которые продолжаются одну или две недели. Потом занятия прекращаются, а детей и преподавателей отправляют на уборку хлопка. Месяц-полтора, иногда больше вычеркнуты из жизни. Всё это было внове для мальчика, но делать нечего, он – как все. Поехали...

Расквартировались они в сельском клубе: по одну сторону сцены на полу мальчишки, по другую девочки, посередине на раскладушке учительница, полная симпатичная большеглазая Алла Моисеевна. В шесть утра подъём, умывание на улице у длинного, как в казарме, многоместного рукомойника, завтрак, который в большом котле готовил пожилой темнолицый узбек, и пешком на поле. Хорошее это время, раннее утро, когда из-за дальней сопки только-только поднимается солнце. Ещё не жарко, стройные высокие чинары стоят в два ряда вдоль дороги, на траве и кустах полыни под чинарами блестят капельки росы, которые испарятся, как только солнце коснётся их своими лучами, а дальше, насколько видно глазу, убранные хлопковые поля с буровато-серыми выхолощенными кустами, на которых кое-где висят неряшливые клочья ваты. Идёшь и так хочется, чтобы дорога эта не кончалась как можно дольше, потому что за ней начинается нудная и тяжёлая работа.

Убирать хлопок так же просто, как копать яму: как можно больше и как можно быстрее. На шею вешают длинный фартук с тесемками по нижнему обрезу, которые обвязывают вокруг талии. Получается большой кенгуриный мешок на животе, в него сверху и с обеих сторон можно складывать комочки хлопковой ваты. Их, правда, нужно ещё откуда-то взять, а это оказывается самым сложным. Хлопок растёт на невысоких, по пояс, кустах в четырёхстворчатых коробочках, похожих на маковые. Пока они не созрели, коробочки зелёные, мясистые с плотно сжатыми створками. Если их открыть пальцами, то внутри можно найти мокрую плотно упакованную вату с коричневатыми семечками. Когда хлопок созреет, коробочки высыхают, створки широко раскрываются, и миру является белоснежный ватный бутон. Это время для уборки. Ещё неделя - и сухая коробочка отторгает вату совсем, она вываливается и повисает на тоненьких волокнах или падает на землю, как грязный использованный ватный тампон. Убирать такой хлопок совсем просто, но неприятно, как перезрелые помидоры.

Мальчик кидал и кидал невесомые грязные комочки ваты в набрюшный мешок, а он оставался всё таким же лёгким, маленьким и никак не хотел тяжелеть. Всё, пора на весы. Это тоже отдых, он потихоньку побрёл к сборной площадке, где под навесом сидел весовщик с безменом.

- «Мешок маленький очень, зачем пришёл?»

- «Вешай».

- «Такой маленький, а пять кило весит, знаешь что это?»

- «...».

- «Камень вынь и вот сюда положи, я потом учительнице вашей отдам», - показал весовщик на небольшую кучку камней и окаменелых комков грунта рядом с собой.

Мальчик покорно вынул из-под хлопка большой плотный комок глины и бросил в кучу.

- «Два кило запишем»,

- «Ты что, камень не весит столько!»

- «Штраф».

- «Спички вот видишь? Хлопок вон видишь?» - он показал на огромный, размером с трёхэтажный дом, бурт хлопка.

- «Учительнице скажу. Ладно, три кило. Иди».

Часам к десяти начинало сильно припекать. Мальчик надевал на голову широкополую солдатскую панаму-мобутовку, так было чуть легче, но под клеенчатым ободком очень потела голова, пот тёк по грязным щекам и высыхал на них или капал на землю. К обеду начинали кровоточить и болеть пальцы от твёрдых и острых створок созревших коробочек.

Обедали в поле, куда тот же пожилой узбек привозил три больших зелёных армейских термоса: с супом-шурпой, кашей или макаронами по-флотски и чудовищно невкусным чёрно-коричневым чаем, который варили из каких-то плотных немного липких черных брикетов. Сидели на земле, на траве, подогнув по-восточному ноги. Пообедав, тут же падали на спину и отдыхали. После обеда работать было совсем не в состоянии. Лившиеся почти вертикально сверху ослепительный свет и испепеляющий зной были просто невыносимы для мальчика, привыкшего к неяркому северному солнцу. Обработанное с кукурузника дефолиантом, а попросту серной пылью, поле источало ядовитый серный смрад. Но нужно было работать. Грозилы всякими карами, вплоть до исключения из школы. Завтрак, обед и ужин стоили двадцать пять килограммов хлопка, а дневная норма для сборщика была шестьдесят пять. К шести часам вечера ребята сдавали последние мешки и падали здесь же на хлопковые кучи, которые потом соберут в



большие бурты размером с трехэтажный дом, а потом упакуют в плотные тяжёлые тюки, готовые к отправке на переработку в нитки, а потом ткани, и масло.

- «Сколько?»

- «Тридцать»,

- «Двадцать пять».

- «Шестьдесят пять».

- «Ни фи́га себе?!.»

Яша Аксельрод в первый же день дал шестьдесят пять кило, во второй семьдесят, потом восемьдесят, сто. Ни одного дня за полтора месяца работы он не собирал меньше нормы. Так продуктивно работали только местные женщины-узбечки, но когда мальчик увидел, на каких полях они работают, он подумал, что тоже мог бы выполнить здесь норму. Чистое поле с полновесными созревшими коробочками было белым от хлопка. Школьникам же обычно доставалось поле после машинной уборки, которое до них утюжили огромные, похожие на гигантские детские велосипеды, трёхколёсные хлопкоуборочные комбайны, которые больше ломали кусты, чем убирали хлопок. Мальчик подозревал какое-то жульничество со стороны Яши, рыжеволосого, веснушчатого тонконосого и тонкоголосого восьмиклассника. Но однажды утром они оказались в соседних рядах. Мальчик увидел справа от себя много-много рук, которые быстро и ловко обегали куст сверху донизу, оставляя нетронутыми несколько коробочек, обращенных в его сторону, чтобы ему не пришлось идти по пустому ряду и остаться без урожая. Все эти руки принадлежали Яше. Он обогнал мальчика на метр на первых двух метрах пути и вскоре исчез вдали.

- «Яша, научи».

- «Работай быстрее».

- «Не получается».

- «Ты на пианино играешь?»

- «Не, на аккордеоне учусь».

- «Работай быстрее, пацан».

В поле работали в основном женщины и школьники. Мужчины руководили, заполняли какие-то бланки, взвешивали и пересчитывали, приезжали, чтобы цепким хозяйским взглядом с края поля окинуть страду, сидели в тени деревьев на

берегу арыка с журчащей в нём зеленовато-серой водой и пили зелёный чай, который подливала им молодая симпатичная женщина со смачно насурьмленными бровями. Всё это было не интересно. В памяти сохранилось совсем другое. Вечером ребята пешком возвращались с дальнего поля. Они шли по пустынному асфальтовому шоссе, вечернее солнце светило им навстречу, блестящий тёплый асфальт, казалось, чуть колеблется перед глазами и уходит куда-то далеко-далеко, прямо к заходящему солнцу. Вдруг сверкающую ленту дороги метрах в пятидесяти впереди пересекла неширокая тёмная полоса, как будто там бросили длинную плетёную циновку, перекрывшую шоссе от обочины до обочины. Полоса слегка меняла очертания. Это было любопытно, все быстро пошли вперёд и остановились, не дойдя до циновки метров трёх. Зрелище было завораживающим. Дорогу плотными рядами перебежали огромные пауки. Их было бесчисленное множество, они бежали и бежали, почти вплотную друг к другу. Всё закончилось так же внезапно, как и началось, только несколько мохнатых пауков, догоняя своих, перебежали дорогу прямо под ногами у замерших ребят. Это были фаланги.

*Помнится, говорили, что не всякая фаланга может прокусить человеческую кожу. Да и не ядовиты они. Но все равно как-то не по себе: вот выбежит откуда-то, быстро-быстро просеменит жесткими мохнатыми лапками по губам, щеке, лбу... И исчезнет так же внезапно, как появилась... Стоп, какая фаланга? Что за ерунда?! Снег же кругом! Да и какое теперь это имеет значение?..*

...Старшина-сверхсрочник заведовал складом в части у отца. Они были примерно одного возраста и служили вместе уже лет двадцать. На склад только что завезли комплектующие для новых сверхзвуковых штурмовиков и сейчас они вдвоём, командир и завскладом, выборочно проверяли поступление. Старшина извлёк из коробки и покрутил в руках какую-то батарею размером точно с плоскую четырёхвольтовую батарею КБС для карманного фонаря, только не с контактами-лепестками, а с гибкими изолированными проволочными электродами, концы которых были залиты смолой, спросил: «Это что?»

- «Написано же, батарея анодная. Это для аварийного радиомаяка».

- «Это-то понятно. Тут вот написано двести десять вольт».

- «Ну?»

- «Не может быть».

- «Написано же».

- «Сейчас проверим», - он быстро достал из кармана перочинный нож и соскоблил смолу с проводов.

- «Осторожнее!»

Но было поздно. Старшина высунул язык и уверенно лизнул зачищенные электроды. Обычный детский приём: кислот – не кислот? Эта кислотила. Старшина резко откинул голову назад, захрипел, язык его мгновенно стал лиловым и увеличился в размерах вдвое. Подбежали солдаты, работавшие на складе, кто-то вызвал фельдшера. Вставили в рот ложку, чтобы старшина не задохнулся, и увезли его в санчасть. Обошлось.

...В кресле парикмахерской было высоко, жёстко и неудобно. Горло сдавливала туго затянутая, когда-то, вероятно, белая, многоразовая накидка. В зеркале отражался симпатичный круглолицый семиклассник, страдающий от тугого узла, густого запаха дешёвого одеколona и начинающейся жары.

- «Ну, как будем стричься? Бокс?» - стройная напудренная сероглазая парикмахерша чуть наклонилась к мальчику и легко прижалась бедром к его руке, лежавшей на подлокотнике. Помимо воли его рука чуть подалась навстречу. Он мгновенно вспотел, поднял глаза и увидел в зеркале отражение её глаз, спокойных, чуть насмешливых и порочных.

- «Б-бокс».

В доме у них всегда было много книг. Тому были две причины. Первая – образованные родители: отец окончил военную академию, мать – университет. Вторая – на севере часть зарплаты отцу выдавали талонами на подписные издания, хочешь-не хочешь, бери. Так в библиотеке собрались отечественные классики: Лев и Алексей Толстые, Чехов, Гончаров, Пушкин, Лермонтов, Аксаков, Маяковский... и западные: Диккенс, Драйзер, Роллан, Лондон, Верн, Майн Рид... Было много разных энциклопедических и толковых словарей, специально для мальчика подписались на Детскую энциклопедию. Книги занимали стеллажи под потолок сначала вдоль одной стены, потом вдоль двух, трёх... На верхней полке всегда стояли БСЭ и сочинения Ленина в синем переплёте. Когда-то, мальчик смутно помнил это, были ещё и тёмно-красные книги Сталина, но потом они исчезли. БСЭ

и ленинские книги оказались очень полезными в годы учёбы в старших классах и институте. Хотя работы вождя и были, на взгляд мальчика, а потом юноши, многословны и слабо аргументированы, а «шаги» вперёд-назад в названиях порой заставляли нервно поёживаться, но здоровый конформизм всё же брал верх: грамотно скомпонованные цитаты в конспектах по обществоведению, диамату и истмату давали неоспоримое преимущество перед однокашниками, просто нарезавшими абзацы из библиотечной хрестоматии.

Буквы он научился распознавать в три года, а через полгода после этого уже вовсю читал печатный текст.

- «Это какая буква?» - бывший машинист Михаил Александрович ткнул пальцем в первую букву названия газеты и взглянул поверх очков на мальчика.

- «Пы».

- «Так. А это?»

- «Р-ры».

- «Хорошо, а это?»

- «П-рр-ав-да», - ему ничуть не мешало, что газета лежала перед ним вверх ногами.

В раннем детстве мальчику покупали прекрасно изданные сказки с иллюстрациями Васнецова, Билибина и Милашевского. Огромный и надёжный, как Шварценеггер, Серый волк, легко несущий на широкой спине бледную печальную царевну по лесам, по долам, решительный прекрасный царевич в расшитом золотом красном кафтане, целящийся из тугого лука в стремглав улетающую злосчастную утку, «...в которой яйцо, а в яйце игла, а на конце иглы жизнь Кощеева...» - они жили в его снах, совершали там подвиги и добрые дела.

- «...Старший умный был детина, средний сын – и так, и сяк, младший – вовсе был дурак».

- «Мама, а кто такой детина?»

- «А что такое и так, и сяк?»

- «А почему дурак?»

Мама, с трудом оторвавшись от тетрадей с контрольными, терпеливо объясняла мальчику, что детина – это такой крупный неважно воспитанный молодой человек,

ну, скажем, как старший лейтенант, замкомандира автороты из их части, на что отец заметил: «Ты только ему об этом не сообщай».

- «Так и сяк означает ни то ни сё. А насчёт дурака – мы ещё посмотрим. Дочитай книжку до конца, а потом вместе решим, дурак он или нет, хорошо?»

В отрочестве он очень увлёкся фантастикой. Было так интересно вместе с автором заглядывать в другие миры. Конечно, разумные существа на тех планетах подозрительно походили на землян, и это смущало, но зато какая там была техника! В зрелом возрасте, будучи сведущ в термодинамике, он как-то прикинул на пальцах масштаб энергопотребления межзвёздного фотонного паррома и горько улыбнулся: многия знания – многия печали.

Признанно великого Жюль Верна он читал с трудом. Скорее всего, то была проблема перевода. Вообще для переводной литературы есть хороший тест на адекватность: перевести произведение несколько раз туда-обратно и посмотреть, что получится. Трудоёмко, конечно, зато какой может быть результат! А вот Майн Рид!.. Шесть толстых оранжевых томов были прочитаны им по нескольку раз от корки до корки. Замирая от страха и восторга, провожал он взглядом безглавого всадника, бесшумно проплывающего мимо и исчезающего в предрассветном тумане, карабкался по горным кручам вместе с ползунами по скалам, прижимался спиной к обломку мачты на утлом плотике, с трепетом взирая, как могучий негр, оседлав над бездной страшную рыбу-молот, вонзает ей между глаз острый кривой нож, выбиваясь из сил, спасался бегством от косматого рыжего орангутанга в сумрачных влажных джунглях Борнео...

А потом в руки ему неизвестно как попала «Дикая собака динго» Фраермана. Вот интересно, что формирует нас как личность? Что первично в этом процессе? Прочитанная ли книга строчка за строчкой, слово за словом, буква за буквой пишет в сердце и сознании свои витиеватые письмена, которые непостижимым образом превращаются в деликатный инструмент, чутко отзывающийся на мысли и события то чистым и нежным минорным аккордом, то глухим стоном, то пронзительным криком, то тревожным набатом, или же сразу заложен в нас замысловатый генетический код так, что душа без предварительной подготовки откликается на то, что мы видим, слышим, читаем? Мальчик попытался пересказать своему приятелю Вове историю чистой детской любви русской девочки Тани и нанайского мальчика Фильки. Тот послушал немного и спросил: «А он её того... в кусты-то таскал?» Да

уж. Действительно, счастье – это когда тебя понимают. Услышал он это значительно позже, но в бессловесной форме мысль эта пришла к нему именно тогда.

## Юность. Школа

Когда мальчик учился в восьмом классе, его отца перевели в большой и красивый столичный город, раскинувшийся в живописных зелёных предгорьях Тянь-Шаня. Впрочем, произошло это под Новый год, и город встретил мальчика туманом и подзабытым уже морозом.

Их двадцать вторая школа была совершенно необычная. В ней не было младших и средних классов, только восьмые, девятые, десятые и одиннадцатые. Но зато сколько их было! Когда спустя два с половиной года он оканчивал школу, в ней было не меньше двадцати выпускных классов, а в длинном школьном расписании, висевшем на стене возле учительской, нашлось место даже для десятого «т». В десятом «и», например, учились только девочки. Нет, в школе не было отдельного обучения, просто в этом классе готовили музыкальных воспитателей для школ и детских садов. Музыкальным руководителем у них был рано облысевший очень элегантный молодой латыш. Вспомнилось, что когда Алис Стасевич, явно затосковав по своей Европе, уехал на родину, ученицы десятого «и» были очень опечалены, все они были в него влюблены.

Сам он учился в «б». Почему он не записался в «а», где учили на физиков-лаборантов, он уже не помнил. В «б» из них готовили чертежников-деталировщиков. Наверное, это показалось ему более перспективным. Так оно и вышло: в институте очень пригodiлось.

...Набор карандашей «Конструктор» от 2Т до 2М, дорогушая готовальня за сорок рублей, чуть розоватый дефицитный высококачественный ватман, набор основных, тонких, пунктирных и штрих-пунктирных линий... И конечно же, замечательный строгий и грамотный учитель, кореец Павел Исакович Сон. Как же давно это было!.. На память о десятом «б» осталась накладка, сделанная однажды чертежной тушью и иглой от циркуля: точка на тыльной стороне левой кисти между большим и указательным пальцем, знак школьного братства.

- «Александра Михайловна, а можно ручку поднять? Уронил», - просьба, совсем невинная в устах второклассника, на уроке истории в девятом «Б» звучала дурашливой насмешкой. Как всегда, азарт и авантюрное начало брали своё.

- «Да, - недовольно поморщилась историчка, - а у тебя что?» - это к Саше, его соседу.

- «Тоже».

- «Что тоже?»

- «Ручку уронил».

- «На резинку подвязывайте, комсомольцы. Разрешаю. При свидетелях разрешаю».

История, утомительный нудный предмет. Революции, военный коммунизм, коллективизация, НЭП, съезды. Даты, которые никак не желают запоминаться и к которым он всегда старался привязать какую-нибудь мнемосхему, подсказывающую числа, например, год, в котором происходил, скажем, восемнадцатый съезд партии. Правда, ассоциативные запоминалки, которыми так богата учёба в школе да и в институте, давались ему тяжело. Запоминал, конечно, но не любил их так же, как и всякие «...путём несложных математических преобразований получим...», и дома обязательно проделывал эти преобразования, а они оказывались вовсе не такими уж несложными, и получал всё же результат, который преподаватель, минуя половину объяснений, написал на доске. Зато если были найдены логика и схема расчёта, он впитывал их раз и навсегда. А какая логика и схема в истории?

Под партией он начал шуршать и шевелиться за двоих, делая вид, что их поисковая группа ищет там упавшие ручки, а Саша тем временем ловко откупорил две пятидесятиграммовых сувенирных бутылочки портвейна, которые тут же в неудобстве были выпиты наспех, чтобы уложиться во временной норматив, отпущенный на поиск ручек. Мать Саши Коновалова работала на ликёроводочном заводе, и он иногда приносил напитки в класс. Соседи с интересом следили за ними.

- «Достали?»

- «Достали».

- «Молодцы. А скажи-ка мне, Коновалов, как ты думаешь, что послужило причиной события, о котором я только что рассказывала? Для тебя тоже, между прочим, рассказывала».

Саша укоризненно посмотрел на историчку, опустил глаза и зашептал уголком сжатых губ в сторону соседа: «Ну, что там было-то?»



Тот, прикрывшись ладонью и мучаясь от подступающего смеха, прошептал первое, что пришло на ум: «Война уже кончилась».

- «Я так думаю, Александра Михайловна, всё просто. Дело в том, что к этому моменту война уже закончилась, а событие...»

Александра Михайловна, которая никак не ожидала, что девятиклассник, будучи явно не в теме, решится-таки осветить вопрос, и поэтому, услышав уверенное начало ответа, приподнялась было со стула, в изумлении замерла и тихо опустилась обратно.

- «Да? К-какая война?» - было видно, что ей интересно, хоть простые слова и давались ей нелегко.

Саша опять бросил взгляд на соседа: «??!»

- «Мировая», - решив не мелочиться, в ладонь прошептал тот.

- «Так... мировая, конечно», - с напором озвучил мысль Саша.

Тут наступило всеобщее веселье и ликование, звонок на перемену, прозвучавший замечательно вовремя, спас и товарищей, и учительницу от ненужного разбора полётов.

А не побросать ли нам Кузю?! Злосчастный Коля Кузнецов, комсорг класса, худощавый кудрявый молодой человек, заметался между партами, ища выход из класса. Куда там. Сплоченная группа таких же молодых людей окружила Кузю, взяла его, отчаянно сопротивляющегося, за руки за ноги и вынесла в длинный высокий школьный коридор. Вряд ли хорошего парня Колю выбрали комсоргом за его организаторские способности. Учился Коля средне и был подвержен стороннему влиянию. Зато его можно было делегировать на всякие обязательные собрания и конференции, которыми так богата школьная общественная жизнь.

Как-то в конце дня в класс заглянула завуч, сообщила, что их классу грозят кары из-за неявки на субботник, и вышла. Все глаза медленно-медленно повернулись в сторону комсорга. Тот беззаботно рисовал что-то на парте и не обратил внимания, что атмосфера вокруг тревожно изменилась. «А не побросать ли нам Кузю?» - зловеще произнёс кто-то. Тогда-то всё и началось. Когда Кузю выносили в коридор, он прекращал сопротивление и отдавал себя на волю весёлой толпе. Он летал и летал под самый потолок, прикрыв глаза и нервно сцепив на груди руки. После этого его аккуратно ставили на пол со словами:

«Искупил». Постепенно это стало доброй классной традицией и время от времени Кузю выносили в коридор полетать уже просто так.

Спустя много-много лет он побывал в родной школе. Всё те же выкрашенные бронзовой краской барельефные портреты писателей и ученых при входе, всё тот же темноватый высокий вестибюль, из которого вправо и влево по нескольким нешироким (а казались такими широкими!) ступенькам можно подняться к хозяйственным службам и дальше – на второй и третий этажи к учебным классам. Типовой проект первой половины прошлого века. Наверное, скоро на слом. Скоро пятьдесят лет, как последний раз закрыл он за собой эту дверь. Или она сама закрылась?.. Кажется, была пружина – он взялся за ручку. Точно, вот она. Такая же тугая. Рука как будто сама вспомнила усилие, которое нужно приложить, чтобы открыть дверь. Интересно, как её первоклашки открывают? Да, теперь здесь учатся и первоклашки – всё как положено. А коридоры остались теми же. Краска на стенах теперь, конечно, получше, это видно, но цвета те же – этаж синий, этаж зеленый. Так же выбелен потолок, правда вроде стал пониже. Но ведь и Кузя, наверно, погрузнел. Где ты, дружище Коля?.. А кабинет директора и учительская на том же месте. Вот сейчас откроется дверь, и, настраиваясь на урок, пройдут мимо по своим классам с журналами и указками пожилой язвительный физик Марк Федорович, симпатичная молоденькая химичка Ольга Семеновна, строгая подтянутая математичка Ирина Николаевна, с парой мячей в руках промчится энергичный Юнус Хасьянович... Потом, держа в руке коробку с персональными цветными мелками, деловито проследует на урок обстоятельный Николай Емельянович, завуч. И может быть, откроется дверь директорского кабинета, и неприступный и суровый Анатолий Наумович отправится в обход своих владений... Увы. Другие школьники, другие учителя, другая жизнь... А вот и его класс. Точно, он! Заглянуть, что ли?..

...Вера Яковлевна наклонилась к нему: «Всё в порядке?» Она обратила внимание, что он уже несколько минут не пишет, а смотрит в одну точку на парте. «Не волнуйся, время есть». Что время есть, он знал. На сочинение на выпускном экзамене дается три часа. Тему после недолгого раздумья он выбрал полусвободную – «Особенности русского характера» по «Судьбе человека». Тема в принципе была известна заранее, и он запасся тоненькой книжкой, отдельным изданием повести. Это не возбранялось - для цитирования. В классе было тихо. По-

соседству что-то быстро писал Володя, школьный товарищ, за другими партами творили одноклассники, а если оглянуться, можно было увидеть незнакомую немолодую женщину официального вида, дремавшую за последней партой в среднем ряду. Надо думать, инспектор из РОНО. За окном третьего этажа как всегда видны были кроны старых тополей, слегка подсвеченных утренним солнцем, да иногда глухо погромыхивали трамваи. Правда, до окон было далеко, он сознательно сел у стены, чтобы не отвлекаться.

Сочинение по русскому языку, последний экзамен. Все предыдущие он сдал на «отлично», в чем никто и не сомневался. Остался последний шаг к золотой медали. Беспокоился ли он по этому поводу? Пожалуй, да. Немного. Больше, наверно, из-за того, что к последнему экзамену взрослые вокруг него стали более озабоченными.

Математика, физика, химия... Здесь он был уверен абсолютно. Учился он хорошо и легко, искренне недоумевал, когда приятели не могли решить простую задачу. Ну что может быть непонятного в правиле буравчика или системе уравнений третьего порядка? Учи – решай. Он так и делал. Приходил домой и сразу приступал к домашним заданиям: теория до полного понимания, примеры - плюс два-три сверх заданного – до полного автоматизма. Для абсолютной уверенности. А потом свобода. Друзья, спорт, кино... Да мало ли хорошего в большом городе, когда тебе шестнадцать.

Эта похвальная черта характера делать всё на «отлично», делать все трудное в первую очередь и не оставлять ничего «на потом» очень пригодилась ему в дальнейшей жизни. Институт, аспирантура, начало научной и преподавательской карьеры... Он был молод, полон сил, уверен в себе и твердо знал: сделать можно всё. Просто нужно брать и делать. Это стало стилем жизни. Много позже, в зрелом уже возрасте, он осознал, что, научившись делать всё-всё-всё, не приобрел или утратил способность отличать важное от неважного, стал похож на асфальтоукладчик. Видел как-то этот агрегат в действии, впечатлился: срезает перед собой без остатка всё - и нужное, и ненужное, глотает, переваривает и превращает в более-менее пригодное к употреблению, не вдаваясь в детали, необходимо это кому-то или нет. И дело по большому счету не в том, что он даже ненужное старался сделать на «отлично». На здоровье, если хочется. Но кто сказал, что возможности человека беспредельны?! Романтических книжек начитался?

Фатальное заблуждение. Он просто не смог вовремя этого оценить, очень уж был силен и самонадеян. И взвалив на себя груды проблем, не разбирая их по степени важности и нужности, он волей-неволей решал их все сначала на «отлично», потом на «хорошо», потом на «удовлетворительно», потом... Сил-то всё меньше, а проблем все больше. А теперь... Время разбрасывать камни, похоже, истекло, а собирать... Вроде как и собирать-то нечего.

...Между рядами прохаживалась Вера Яковлевна. «Всё в порядке? - повторила она, - время ещё есть, но оно не бесконечно, друг мой». Он огляделся. Володя быстро писал. Нормальный парень. Хороший товарищ и без заскоков. Себя он тоже видел хорошим товарищем и без заскоков, хотя, если честно, где-то глубоко в подсознании нет-нет да и загорался сигнальный фонарик: «Что-то не так». Вот банальная дилемма: дать списать – не дать списать? Почти всегда он принимал решение «да». И потом оставался на дне души осадок от принятого решения. Но и в тех редких случаях, когда он принимал мужественное решение «нет», то осадок оставался все равно. Такой же скользкий и неприятный.

Володя жил недалеко от школы. Как-то зимним днем они сидели на кухне у Володи и пили чай с малиновым вареньем. Завтра практика, уроки готовить не нужно.

- «Давай самогонку гнать», - предложил Володя.

- «А умеешь? Вроде брага нужна».

- «У нас огурцы прокисли. Мать выбросить собралась, но пока не выбросила».

Володя достал из кладовки две трехлитровые банки с огурцами. Крышки вздулись, в мутном пузырящемся рассоле плавали маленькие буро-зеленые огурцы. Выглядело неаппетитно.

- «А как гнать-то? Аппарат нужен. Кипятильник, змеевик... Я в «Самогонщиках» видел».

- «Можно по-другому», - сказал Володя.

Он поставил на газовую плиту большую кастрюлю, вылил в нее прокисший рассол из обеих банок, стараясь не упустить туда огурцы и приправы, в рассол погрузил пустую кастрюлю поменьше, сверху всё это накрыл тазиком, в который налил холодной воды.

- «И что?»

- «Зажигай газ. Здесь кипит, здесь испаряется, здесь конденсируется, сюда капает. Простейший самогонный аппарат», - сказал Володя.

- «Откуда знаешь?»

- «Народный рецепт».

Через полчаса кухня пропиталась кисловатым бражным запахом, а в маленькой кастрюле набралось граммов триста зеленоватой жидкости. Обмакнули туда полоску газетной бумаги и подожгли. Влага вспыхнула и погасла.

- «Градусов сорок есть, - со знанием дела сказал Володя, - годится. Нужно закусить приготовить. Ты картошку поджарь пока. В углу коробка, там картошка».

- «Попробуем?»

Володя налил в две стопки грамм по пятьдесят. Выпили. Жидкость была теплая, почти горячая, сильно отдавала прокисшим огурцом, но достаточно крепкая. В голову ударило.

- «Слушай, картошку чистить не хочется. Долго. Может, помою да в кожуре поджарю?»

- «Давай. Масло в холодильнике. Чем бы вкус огуречный перебить?»

- «А вон варенье», - он пододвинул Володе банку с малиновым вареньем.

- «Классно получилось», - согласились оба, по очереди отскребая от сковороды пригоревшую недожаренную картошку в кожуре и запивая ее теплым зелено-розовым напитком с отчетливым огуречным вкусом.

...Инспектор на последней парте уже откровенно спала, но голову держала ровно. А вот интересно, если, пока спит, ей на ухо что-нибудь скабрзное пошептать, разволнуется? Как-то на уборке хлопка после отбоя они под одобрительными взглядами нескольких бодрствовавших одноклассников убеждали задремавшего белобрысого Колю немедленно справить малую нужду, нашептывая ему в оба уха: «Мыкола, давай, ...» Тот беспокойно ворочался и что-то бормотал во сне, но так и не поддался на уговоры. Может, сейчас получилось бы?..

Веру Яковлевну они любили, уважали и слегка опасались. Хотя чего уж опасаться в школе в выпускном классе. Строгая, стройная, опрятно одетая и прибранная женщина лет сорока пяти, она прекрасно знала свой предмет и, чувствовалось, очень много чего еще. Говорили, что когда-то она работала в газете, а это в глазах десятиклассников было уровнем олимпийским. Она была

демократична, никогда не повышала голос, впрочем, он не помнил, чтобы и другие преподаватели грешили этим, но когда в классе кто-то начинал особо докучать, она делала строгое лицо и произносила одну-две короткие реплики, парировать которые не было никакой возможности – реплики были точны и остры.

Много лет спустя, уже в Израиле, когда он заглядывал в школу к своему младшему сыну и видел там толстых, неопрятных и бестолково-шумных на его взгляд женщин-преподавателей, ему становилось жалко сына, жалко себя и безнадежно-тоскливо: «Где вы, Вера Яковлевна?»

...Да, так всё в порядке или уже нет? - он посмотрел на часы. До сдачи сочинения оставалось ещё полтора часа. Что имеем к данному моменту? Две страницы написаны. Нужно шесть-семь. Сделаем. За час он написал остальное. Всё как положено: завязка, кульминация, развязка, заключение. Проверил слово за словом, запятую за запятой. Пожалуй, всё правильно. Сдал, расписался, вышел. На улице нервно прохаживались многочисленные родители, в сторонке стояли те, кто закончил писать раньше.

- «Ну, как?» - кто-то из одноклассников предложил закурить.

- «Не курю, знаешь же. Нормально. Как всегда».

Он постоял немного и направился домой. Да уж, нервы у него тогда были... Сейчас бы.

На следующий день он пришел узнать результат. Его встретила встревоженная Вера Яковлевна: «Ты сочинение проверял?»

- «Ещё бы. А что?»

- «Кажется, у тебя там ошибка есть. Запятую не поставил».

- «Не может быть. Где?»

- «В цитате. Посмотрели хрестоматию, есть запятая».

- «Не мог я пропустить. У меня своя книжка была. Значит, нет там запятой».

- «Неси. Только быстро. Нужно работу в РОНО отправлять».

С русским языком как школьным предметом у него были непростые отношения. Бархударова-Крючкова он одолел легко. Всякие «жи-ши» и исключения из них понял быстро и запомнил навсегда. А вот с синтаксисом застопорилось и иногда вдруг проскакивали какие-то неясности и даже ошибки. Возможно, многочисленные переезды и смены школ сказались. И Узбекистан с его

ударным хлопкоробством вместо учебы... В общем, в девятом классе стало понятно, что есть проблема и её нужно решать. Медаль уже тогда стояла на повестке дня, поскольку, понятно, давала хорошее преимущество при поступлении в институт. Да и просто хотелось. Короче говоря, в середине девятого класса он всерьёз взялся за синтаксис. Учил, писал, снова учил и снова писал. Мать диктовала, он писал. Через полгода почувствовал: дело пошло. Запятые, двоеточия, дефисы и прочие тире, подчиняясь его воле, стали как-то находить удачные места в самых длинных и замысловатых предложениях. Кстати, он с удивлением обнаружил синтаксические огрехи в произведениях известных и даже великих. Вера Яковлевна по этому поводу снисходительно заметила, что великие писали все-таки не учебники и справочники по языку, а книги.

...Он быстро сбегал домой. Волновался, конечно. Одна запятая – это уже не «пять», а «четыре». И медаль не золотая, а серебряная. Досадно. Взял книгу, быстро пошел в школу, на ходу перелистывая страницы. Вот она, цитата. Нет там запятой! Ура! Если вдуматься, то, пожалуй, должна быть. То ли корректор пропустил, то ли Михаил Александрович забыл написать, а в хрестоматии, о которой упоминала Вера Яковлевна, аккуратно поставили – это тайна. Главное, в книжке нет запятой! Черным по белому, как говорится. Пришел, отдал. Вера Яковлевна с завучем быстро отыскали цитату и, было видно, вздохнули с облегчением. Забрали у него книгу с обещанием вернуть. Он махнул рукой: «Ради такого дела...». Запечатали в конверт вместе с сочинением: «Иди, отдыхай».

- «А оценка?»

- «Медалистов РОНО проверяет. Мы свою оценку поставили. Был вопрос у инспектора, а ты книжку вот правильную нашел».

Все давно уже знали свои оценки, давно получили в руки аттестаты о среднем образовании – заветный голубой листок с перечнем предметов, оценками, подписями и печатями, а он все ещё был в неведении. Положим, он был уверен, что медаль-то будет. Речь шла только о материале, из которого она изготовлена.

И наступил выпускной вечер. В правом крыле коридора первого этажа были накрыты столы. Ужасно жали новые туфли за двадцать два рубля и мешал галстук, который он надел впервые в жизни. Но всё вместе: черный костюм, плетеный темно-серый галстук на резинке, белая сорочка – создавало ощущение праздника. Была, правда, какая-то незавершенность: из двух десятков выпускных классов он

был единственным, кто не знал своих результатов. Одноклассники намекнули даже, что «они уже там, а он ещё здесь». Шутка. «Потерплю», - отогнал он неприятное.

А за столами впервые открыто обменивались тостами: директор разрешил «по чуть-чуть» красного, а уж по чуть-чуть белой-то они принесли с собой и рассовали по укромным местам в классах и во дворе. Он потянулся бокалом кому-то навстречу и в это время почувствовал руку на своем плече. Он обернулся.

- «Как, ждешь?» - лицо директора Анатолия Наумовича было, как всегда, серьезно и даже сурово. Он кивнул.

- «Есть золотая», - бесстрастно произнес директор и посмотрел ему в глаза.

- «Что есть... золотая?» - не понял он.

- «Медаль есть у нас с тобой. Золотая, хороший мой! Понял!? Поздравляю!» - широко и радостно улыбнулся Анатолий Наумович и обнял его.

Он слегка опешил, поскольку видеть директора улыбающимся, да ещё так широко, ему не приходилось.

- «Спасибо», - и задумался.

В это время его сосед по столу долил ему красного, потом поднял свой бокал, встал и произнес, показывая на него пальцем: «Золотую дали. Он с нами. Поздравим?!»

*Стало грустно: «И запятые тебя уже не послушаются, и сделать, оказывается, можно не всё...»*

Влажная асфальтовая дорога перед ним вдруг качнулась и неуправляемо пошла вправо, краем глаза он увидел быстро приближающийся по дуге бордюр и зелёный газон неширокой разделительной полосы с тоненькими двухметровыми тополями в свежих лунках. Удар о бордюр был сильным и страшным своей фатальностью. Горизонт мелькнул и исчез вверху справа, возник и исчез снова и наконец появился перед глазами, накренившийся и подрагивающий. Грохот прекратился, и в наступившей тишине он услышал, как где-то в стороне поют Битлз: «Oh girl»...

Той весной отец купил машину. Сверкающий свежей белой краской Москвич притягивал его неодолимо. Детская любовь к автомобилям наконец-то могла реализоваться. Он не отходил от машины. Заводил, слушал, как негромко и ровно



работает мотор, мыл и полировал белое лаковое покрытие, до абсолютной радужной прозрачности протирал мягкой фланелевой пелёнкой стёкла...

Через неделю он уезжал в Москву поступать в институт, и этот выходной они с Таней посвятили загородной поездке. Полдня добирались до смытого недавним селем горного озера, но не добрались: дорогу, оказывается, за четыре года так и не восстановили. Но всё равно вернулись довольные: горы, солнце, юность... Он отвёз Таню домой, а сам решил проехаться по новому шоссе, полукольцом опоясывающему город с севера. Безлюдная дорога: три полосы в одну сторону, газон с молоденькими тополями, три полосы в другую... Он кефовал: ровный гул надёжного мотора, гладкий серый асфальт под колёсами, сто двадцать на спидометре, любимые Битлз из подаренной недавно родителями «Весны», кулёк с «Красным маком» на переднем сиденье – не доели.

По лобовому стеклу дрожащими струйками растеклись первые капли дождя. Дворники смели их, но на их место уже упали новые. Пошёл дождик, первый за этот месяц. Он сбросил скорость до ста. Вспомнились «Советы бывалых» из журнала «За рулём»: «...Самыми опасными являются первые пять-семь минут дождя. Вода смешивается с пылью и остатками масла и топлива на асфальте и создаёт очень скользкую смесь...» Попробовать, что ли? Он нажал на педаль тормоза и сразу отпустил. Поздно! Влажная асфальтовая дорога перед капотом вдруг качнулась и неуправляемо пошла вправо, краем глаза он увидел быстро приближающийся по дуге бордюр и зелёный газон неширокой разделительной полосы с тоненькими двухметровыми тополями в свежих лунках...

...Из-под капота тянулась зыбкая полупрозрачная струйка дыма или пара, мотор не работал. Что это было? Он пошевелился. Вроде всё в порядке, нигде не болит. Он толкнул дверь – не открывается. Заклинило наверное. Потянулся к правой двери и обнаружил рядом крышу, которая провалилась почти до спинки сиденья. Да уж! Он подумал, что полчаса назад здесь сидела Таня, вот здесь белели её притягательные коленки... Стало зябко. Дует, однако. Ага, лобового стекла нет. Он посмотрел на полупрозрачную струйку из-под капота и проворно выбрался через ведущий на волю оконный проём. Машина стояла, накренившись, похоже, недоставало колёс. Задние были на месте, правое переднее было подвёрнуто внутрь, как сломанная лапа у щенка-подростка, левое переднее отсутствовало вовсе, оно валялось на земле недалеко от дороги. Асфальт был

усыпан мелкими осколками сталинитового стекла и конфетами «Красный мак». Метрах в тридцати впереди лежал слегка помятый бежевый магнитофон «Весна», Битлз пели: «Oh girl...». Он с усилием сообразил, что машину выбросило на встречную полосу и развернуло носом в противоположную сторону. Вперёд в прошлое. Неаккуратно разбросанные по дороге осколки подтолкнули его к действию. Он с трудом сломал молодое деревце на газоне и начал сметать их с дороги. Его стало знобить сильнее, он бросил мести и присел на бордюр. Дождь покапал и прекратился.

Рядом остановилась бежевая Волга, к нему неторопливо подошли два гаишника: «Жив»?

- «...»

- «Дыхни».

- «...»

- «Документы давай».

- «Вот».

- «Смотри-ка, трезвый, документы в порядке», - один из них что-то записал у себя в блокноте, - «Держи», - вернул ему документы.

- «Родителям позвоните», - он назвал номер домашнего телефона и сел на траву на обочине. Болела голова, побаливала правая нога в подъёме, видно, зацепился за что-то, когда кувыркался. В ушах ещё стоял грохот, перед глазами взлетал и опускался горизонт, знобило.

Стемнело. На дежурном узике подъехал отец. Следом подошёл ЗиЛ-157 с гидрокраном-«гусаком», солдаты обвязали машину тросом и погрузили на платформу крана. Отец подошёл к нему, обнял, молча постоял рядом: «Забудь, готовься в институт». Потом добавил: «Позвонили. Мама взяла трубку. Ей сказали: Не волнуйтесь, Ваш сын разбился... У нее обморок... Совсем простые ребята, - отец помолчал немного, - вот гады!» Сил и желания возражать не было.

Как и все в детстве, он слышал иногда: «Вот придёт дядя милиционер!..» Он, конечно, настороженно относился к этому дяде милиционеру, но чувствовал, что папа и мама говорят это не всерьёз, что не отдадут они его никакому дяде, потому что любят его. Ну побаловался, ну стекло мячом разбил... При чём тут чужой дядя в тёмно-синей форме и яловых сапогах?

С картинки детской книжки из-под козырька форменной фуражки с красным околышем на него смотрели добрые с лукавинкой глаза: дядя Стёпа.

«...Я скажу вам по секрету,  
Что в милиции служу  
Потому, что службу эту  
Очень важной нахожу...»

В одной руке у дяди Стёпы был полосатый жезл, другой он приподнимал за ворот неопрятного пиджака кого-то небритого и нехорошего. Жулик, наверно. Дядя Стёпа был сильный, душевный и справедливый. Это навевало на мальчика спокойствие и уверенность.

Как-то они с приятелем пешком возвращались в город по обочине шоссе с прогулки – два шестиклассника решили осмотреть окрестности Карши. Вокруг не было ничего интересного: желто-серый песок с кустиками колючего янтака, голые рыжеватые сопки по обе стороны асфальтированной дороги, тусклое горячее солнце в высоком безоблачном небе. Вдруг из-за сопки выскочили три парня-узбека в черных стеганых чапанах, черных с грязновато-белым орнаментом тюбетейках на бритых головах и с длинными толстыми отполированными временем пастушьими посохами, подбежали к ребятам и преградили им путь. Один из них безразлично, безо всякого интереса посмотрел в глаза мальчику, потом молча сдёрнул с его плеча скромный фотоаппарат Смена. Ремень лопнул, и аппарат оказался у парня в руках. Потом он потянулся за отцовским биноклем, который мальчик тоже брал с собой. Полевой офицерский бинокль отец привёз с фронта и очень им дорожил. Мальчик рванулся и помчался по шоссе в сторону города. Он не слышал погони и обернулся на бегу. В этот миг его настиг посох, брошенный кем-то из нападавших. Удар в глаз был силён. Мальчик остановился и закрыл лицо руками. Было очень больно, по пальцам текла кровь. Парни подбежали, несколько раз ударили его, кто-то из них сорвал с него бинокль. Ему было уже всё равно. Глаз затёк, не видел и очень болел. Кое-как с помощью приятеля добрался он до дома, мама вызвала скорую. Глаз был повреждён, но через пару недель всё пришло в норму. А потом их начала осаждать милиция: «Необразованные пастухи, молодые, горячие, тяжёлое детство, взяли фотоаппарат посмотреть, мы же вернули...» Мальчик впервые в жизни столкнулся с такой жизненной проблемой. Его душили обида и злость. Какие молодые?! Они вдвое

старше его! Он хорошо запомнил этот безразличный, как у варана, взгляд. Он был против, но родители, увидев, что здоровье сына не пострадало, забрали заявление. Таким было его первое знакомство с органами правопорядка. Хотя нет, второе. Первым всё-таки был Дядя Стёпа, душевный и справедливый.

-«Ну, последний раз спрашиваю, кому ты шапку передал, а-а!? - усталый капитан зло смотрел на него, - хуже будет». Чёрт понёс его, наивного провинциального восьмиклассника, только вчера приехавшего жить в этот большой красивый город у гор, пойти покататься с ледяной горки у огромного правительственного здания в центре. Послезавтра Новый год, праздный народ развлекается как может или как позволяют ресурсы. Кто-то в весёлой компании в ресторане, кто-то за бутылкой в гостях, кто-то вот здесь, на невысокой, но длинной ледяной горке. Съезжают гурьбой по быстрому льду, стоя на ногах и вцепившись друг в друга, и заваливаются внизу кто на спину, кто на бок, кто на соседа, а ещё лучше – соседку. Отряхнулся – и опять наверх.

Мальчику было весело – три долгих года в жарких южных краях не видел он снега и льда и теперь чувствовал себя просто здорово. В этот раз, когда весёлая толпа завалилась вдруг почему-то не внизу, а посередине горки, он краем глаза заметил, как из-за его плеча появилась проворная рука, сорвала невиданную красивую пушистую шапку с упавшего впереди мужчины и тут же исчезла за его плечом. Мужчина неловко повернулся к нему и схватил за рукав большого неказистого полупальто, в которое нарядили его родители. Мужчина что-то говорил, злое и обидное, правда, не бил. Мальчик опешил. Он не понимал, чего от него хотят. Он же объяснил, что видел руку, появившуюся из-за плеча и сорвавшую шапку с головы этого мужчины. Он же объяснил капитану, что это не он.

Капитан что-то писал на сероватом бланке, а он стоял возле стола с неровно написанным на фанерной стенке тумбочки инвентарным номером. Цифры были расположены почему-то вверх ногами, и он никак не мог их разобрать. А ведь мог когда-то – он вдруг вспомнил: Михаил Александрович держит перед собой на столе газету и ведет по листу указательным пальцем, а стоящий напротив кудрявый четырехлетний мальчик читает появляющиеся из-под пальца большие черные буквы: «П-рр-ав-да»... Ему было страшно.

-«Ну, гадёныш, где шапка!?!», - в этот раз капитан несильно, но больно ударил его сдвинутыми пальцами под дых... В три часа ночи подъехал отец и забрал его из

милиции, подписав что-то в документах у дежурного старшего лейтенанта, сменившего усталого и злого капитана.

Как все-таки неумелы мы в описании наших чувств! Какие бы ни подбирали мы слова, как бы ни расставляли их, какими бы эмоциональными знаками не метили их здесь и там, всё равно написанному не хватает интонаций, жестов, гримас, вздохов и всхлипов, смеха и слёз...

К чему это он? Ах, да... Мальчик раз навсегда понял, что милиция – это страшно и опасно. И научился ненавидеть. Такая ненависть неизлечима. Она на всю жизнь. Перед глазами промелькнули все разом: автоинспектор, поигрывающий компостером: ну что, по-шоферски разойдёмся, или протокол составлять будем? Таможенник в аэропорту, обнаруживший в чемодане десятидолларовый Кодак-мыльницу и требующий двадцать долларов в обмен на недописанный административный протокол за мелкую контрабанду. Приятель-подполковник из ГУВД, прямо предупредивший: «Что бы ни произошло, наших не вызывай. Не отвяжешься потом. Да и вообще запомни заповедь: увидел мента – перейди на другую сторону». Шутил так, что ли?

И когда однажды он увидел из окна, как мотоциклист в погонах на черной коже, в нарушение всех правил обгонявший по встречной полосе сворачивающий налево легковой автомобиль, врезался в его переднее крыло и, как в замедленном видеоповторе, перелетел через капот и, кувыряясь и оставляя грязновато-бурые следы, покатился по асфальту, с нехорошим удовлетворением понял: нет, это не лечится.

*А вот интересно, зачем нам ненависть? Любовь – понятно, природа позаботилась о продлении человеческого рода. А ненависть?.. Да для того же. Места мало, людей из-за любви много, а тут, пожалуйста, натуральное средство от перенаселения. И никаких побочных эффектов... Ладно, примем как рабочую версию.*

...Отец обнял его: «Забудь, готовься в институт». Он готовился. Цель была – Московский авиационный институт. Почему МАИ, толком он ответить не смог бы. Немного повлиял отец, кадровый офицер, который всю жизнь строил военные аэродромы, а теперь служил в штабе дивизии ПВО. Немного повлияла мать, школьный учитель истории и обществоведения. Она призналась как-то, что после школы мечтала поступить в авиационный институт, который окончил её старший

брат, но из-за войны сложилось так, как сложилось: Казань, университет, история. Не забылся, наверно, и тот давний случай с моделью планера, за ненадобностью подаренной ему ребятами из областного центра, приехавшими к ним в городок на испытания. Планер он тогда с помощью отца привел в порядок и даже запустил его несколько раз. Летал он классно: плавно набирал высоту и величаво, по-другому не скажешь, парил и аккуратно заходил на посадку. Но папиросная бумага на крыльях понемногу истрепалась, калька, рулон которой принес отец из части, для такого дела не подходила, а папиросной бумаги найти не удавалось – в общем, планер в конце концов был отправлен на чердак. Отец аккуратно подкладывал ему книги про Туполева, Ильюшина, Яковлева, Лавочкина, и МАИ постепенно сформировался как цель. В военкомате при постановке на учет ему предложили направление в Военно-медицинскую академию в Ленинград, но цель уже была, да и отец, процитировав ещё раз «как надену портупею...», сказал: «Медицинская – это хорошо, но вот военная... Лучше не надо». В общем, он отказался.

Год был сложным. Средняя школа переходила, точнее возвращалась с одиннадцатилетнего обучения на десятилетнее, и год был стыковым: выпускались и десятые, и, в последний раз, одиннадцатые классы. Впоследствии он задумывался: почему и за что после школы жизнь повернулась к нему темной стороной? Ну не нагрешил он так крупно! Мало было проблем с поступлением в институт, так ещё через пять лет после окончания института, когда у него была готова к защите диссертация, началась перестройка структуры ВАК – Высшей аттестационной комиссии, и он потерял ещё четыре года – самое плодотворное время для ученого. Почему? За что?!

## Юность. Институт. Москва

Ах, Москва, Москва!.. С детства она виделась ему центром мироздания. Он выходил на площадь перед зданием аэропорта Домодедово, сворачивал направо и спешил пристроиться в хвост очереди на автобус-экспересс «Аэропорт-Аэровокзал», чтобы потом от Сокола проехать на метро один перегон до Динамо и вдоль стадиона пешком дойти до Новой Башиловки, где он обычно останавливался у своих друзей. Светлый берёзовый лес, через который проходило шоссе на Москву, всегда вызывал у него одно и то же чувство – ностальгию по безвозвратно ушедшему доброму и безмятежному детству. Хотелось войти в этот лес, сесть на траву, вдохнуть чистый чуть влажный воздух, пахнущий грибами и прошлогодними листьями.

Сам город, куда он ехал, был огромный, как земной шар. Всё в нем не такое, как он привык видеть в военных гарнизонах, городках и городах, куда забрасывала его судьба сына военнослужащего, студента, аспиранта, доцента. И люди в нём были совсем другие и очень разные.

Он сидел у окна и смотрел, как закончился берёзовый лес и небольшие пригородные дома сменились многоэтажками, которые постепенно подступали всё ближе и ближе к дороге. Экспресс шёл по Москве. Перед ним переговаривались мужчина и женщина.

- «Вы не знаете, он на Площади Революции останавливается?»
- «Вроде должен, на трафаретке написано. Да вы у водителя спросите».
- «Водитель, на Площади Революции останавливаетесь?»
- «Нет».
- «А мне сказали, что останавливаетесь».
- «Плюньте в лицо тому, кто вам это сказал».
- «Простите, мне?!»
- «А это вы сказали?»
- «Ну да. Там же на трафаретке было написано».
- «Женщина, вот ему».

Следующим утром он сдал в институт документы, но вместо удостоверения абитуриента получил направление на медкомиссию. Это его сильно встревожило.

Со здоровьем-то все было в порядке, но с год назад у него выявилась небольшая близорукость, минус два, а он по совету отца скрыл это обстоятельство и в справке, которую привез с собой, рукой врача медсанчасти были вписаны другие показатели. У отца были резоны: сразу после школы он пытался поступать в Академию Можайского на инженерный факультет – не взяли именно из-за незначительной близорукости. А получить медицинскую справку с нужными данными – да хоть с незначительной беременностью – в стране никогда не было проблемой, ни раньше, ни теперь, ни, наверно, в обозримом будущем. В общем, он запаниковал. Да и чего можно было ожидать от семнадцатилетнего провинциального мальчишки, ошеломленного огромным городом, который уже не казался ему таким доброжелательным, как в безмятежном детстве, когда рядом были сильные и уверенные папа и мама. Сейчас от него чего-то требовали, хотели с кем-то сравнивать и, самое страшное, его пытались разоблачить и могли обвинить в нечестности. И никому не была интересна его золотая медаль, медалистов там, это он успел заметить, прочитав списки абитуриентов, было по два с лишним человека на место. В общем, всё плохо.

Утром он отправился в институт с твердым намерением забрать документы и вернуться домой. Ещё можно было успеть к началу вступительных в свой политехнический. Настроение было подавленное. В полупустом вагоне метро он не стал садиться, прислонился к поручням у двери и стоял, бездумно глядя на проносившиеся за черным окном темно-серые кабели на черной стене тоннеля.

- «Абитура?» - молодой человек тронул его за плечо.

- «Угу».

- «МАИ, Пищевой?»

- «МАИ».

- «А что кислый-то такой, коллега?» - дружелюбно спросил молодой человек.

И он рассказал ему всё, как есть. Трудно сказать, почему. И горько было, и хотелось участия и, может быть, поддержки.

- «Ну ты, брат, даешь! Кому нужны там твои очки? У нас на самолетостроении, ты же туда нацелился?..»

- «Ну да».



- «У нас на самолетостроении половина студентов очкарики. А аспиранты все», - он показал на торчащие из нагрудного кармана легкого пиджака дужки очков.

- «А справка? Там же неправда», - его очень пугала возможность разоблачения и позора.

- «Ну, значит, неправда. Выкинут твою и вложат в дело нашу, маёвскую. Обычное дело. Иди на медкомиссию и сдавай экзамены. А вообще ты меня озадачил. Медаль это хорошо, но характер же надо иметь. Удачи тебе. Может, встретимся. И будь мужиком», - молодой человек пожал ему руку и вышел на Соколе.

С медкомиссией обошлось именно так, как предсказал собеседник в метро. Но он так перенервничал, что не смог собраться с мыслями на экзамене по математике. Уже выйдя с экзамена, он знал, что допустил несколько ляпов, поэтому, не дожидаясь результатов, сразу забрал документы и улетел домой. Он ещё не знал тогда, что заложил в фундамент своей будущей жизни второй зыбкий камень – склонность к панике и принятию эмоциональных решений. Правда, осталась в памяти встреча с хорошим человеком.

Дома он попереживал немного, а потом по протекции маминых знакомых устроился препаратором в институт металлургии. Металлургию он представлял в основном по киножурналу «Новости дня» да фильму «Весна на Заречной улице», где Николай Рыбников несколькими точными ударами пробивал длинным ломом перегородку летки и, озаренный заревом расплавленного металла, эффектно вытирал вспотевший лоб тыльной стороной суконной сталеварской рукавицы. В группе ультразвука однако занимались исключительно электроникой. Он научился работать с тестером и осциллографом, научился паять и собирать несложные электронные схемы. Здесь он с пользой и удовольствием проработал полгода, но пора было готовиться к поступлению в институт, и в мае он уволился. Авиационный оставил тяжелые воспоминания и комплексы, сейчас он решил поступать в инженерно-физический – МИФИ.

Теперь он настроился получше. Он уже имел представление, что такое вступительные экзамены, кроме того, методично от корки до корки проштудировал толстое пособие по математике для поступающих, правда, в Физтех. Документы он подал на факультет экспериментальной и теоретической

физики на специальность «теоретическая физика». Когда оценил конкурс, ему стало не по себе: только медалистов было пять или шесть человек на место. Первый экзамен – письменную математику, он был уверен, написал без ошибок.

-«Так, давай посмотрим, что тут у нас?..» - экзаменатор бегло пролистал подробно расписанные ответы на вопросы экзаменационного билета по устной математике, потом вытянул несколько листов из стопки сложенных на краю стола письменных работ.

Фамилия экзаменатора была Дубов, это он запомнил. Дубов был известен тем, что выпустил свой сборник задач для поступающих в МИФИ, правда, был он потоньше и послабее капитального труда физтеховского Савельева... В общем, пособие Дубова при подготовке было им проигнорировано...

- «Вот здесь в письменной работе у вас недочет, между прочим. Склонен поставить вам четверку». Четверка по письменной математике означала общую четверку по математике, а это означало, что нужно будет сдавать ещё физику, химию, русский язык.

- «Вот вы плоский угол в основании пирамиды рассчитали, а период не добавили, ответ правильный, но не полный».

- «Я не согласен. Там написано, - он прекрасно помнил и условие задачи, и свое решение, - дана пирамида, значит, дана настоящая геометрическая фигура, физическое тело, а у физического тела не может быть угол при основании равен живому углу плюс два пи в периоде. Пирамида не бывает с углом в четыреста двадцать или семьсот восемьдесят градусов, её так не выкрутить!» - он в сердцах описал пальцем в воздухе два оборота воображаемого угла в основании злосчастной пирамиды.

Дубов отодвинул листки в сторону, пристально посмотрел на него: «Здесь у вас всё более-менее правильно, - кивнул он в сторону листков с его ответами на вопросы устного экзамена, - давай поговорим ещё, - он подвинул к себе тоненькую мягкую книжку с надписью «Дубов. Сборник задач по математике для поступающих в МИФИ» и пальцем перевернул несколько страниц.

- «Набросайте-ка мне график суммы тангенса аргумента и его экспоненты. Нет, считать не нужно, найдите реперные точки и покажите ход кривой».

- «А что такое реперные точки?»

- «Ну, характерные: пересечение осей, точки максимумов и минимумов...»

Он задумался, потом быстро нарисовал кривую в координатах икс-игрек.

- «А если экспонента будет не от икс, а от единицы, деленной на икс», – заглянул экзаменатор в книжку.

Он задумался надолго, потом нарисовал и это.

- «Правильно, но долго думаете, время дорого. А если будет не экспонента икс, а экспонента тангенса икс ...»

Это продолжалось минут двадцать. На половину вопросов он ответил, на половину, пожалуй, нет.

- «Ну, что будем делать? Тройку я вам могу поставить, а больше – не знаю. Готовиться надо лучше», – он похлопал по сборнику.

- «Не надо тройку. Вообще ничего не надо. А готовиться – это вам лучше надо!» - он взял со стола своё удостоверение абитуриента, направился в приемную комиссию, забрал документы и пошел в общежитие, где он в этот раз остановился, чтобы не стеснять знакомых – выписываться.

Соседи по комнате – бывалая абитура – а двое из них поступали уже в третий раз, выслушали его, взволнованного и удрученного.

- «Психанул ты зря. К следующему экзамену от конкурса ничего не останется, а к концу начнут троечников обратно отзывать. Известное дело».

- «Да обидно очень. Чего он прицепился?! Я всё правильно решил и по письменному, и на вопросы правильно ответил. А что медленно – я всегда медленно думаю. Зато правильно».

- «Ты сам посмотри, ты иногородний, значит, тебе нужно общежитие, а общежитий не хватает – раз. Ты готовился по Савельеву, говоришь? Ты Дубову об этом сказал?»

- «Да».

- «Ну и зря. Чего ты хотел? Обидел – два. А фамилия твоя как?»

Он ответил.

- «Вот. А Дубов, говорят, антисемит».

- «А это что?»

- «Ну ты даешь!.. Евреев он не любит. Ты откуда такой?»

Он задумался. С такой проблемой он мельком сталкивался лишь однажды, когда, заглянув в открытый классный журнал девятого «Б», обнаружил там «еврей» против своей фамилии в колонке «национальность». Озадаченный, он посоветовался дома с отцом. Тот жестко сказал: «Завтра же потребуй изменить. Ты русский. У тебя мать русская, а национальность можно выбирать по одному из родителей. Тебе скоро паспорт получать». Классная, Бэлла Михайловна Листенгартен, с сомнением посмотрела на него, но запись исправила.

Много позже, уже доцентом, довелось ему поработать в составе институтской приемной комиссии. Запомнились напутственные слова ректора, сказанные в узком кругу посвященных: «...И чтобы никаких мне швили-дзе близко не было...» Что ж, мировоззрение формируется на протяжении всей нашей жизни. Как-то откликнется?..

## Юность. Институт

Вступительные экзамены в МИФИ были в июле. Он вернулся домой, подал документы на энергетический факультет политехнического института, сдал на отлично две математики и был зачислен на первый курс. А в середине сентября, через две недели после начала учебы, их традиционно отправили на уборку урожая в хозяйство знаменитого на всю страну многократно орденосного кукурузовода.

В темном оконном проеме заброшенной котельной едва угадывался силуэт Володи Лысенко, однокашника, отрядного кашевара. Неподвижный, как сфинкс, сидел он на подоконнике, опершись спиной о косяк проема и обхватив руками худые колени. Это была его обычная поза. Володя поднимался в пять утра, разводил огонь под грязноватым чугунным котлом и готовил что-то невразумительное из жесткого мяса или консервов, картошки и крупы на завтрак, обед и ужин. В котле побольше варил, по-другому не скажешь, чай, как он сам его характеризовал, «с тряпочками». Чай был брикетный. Из чего состоял брикет, понять было невозможно, жидкость после варки была пугающего черно-коричневого цвета и омерзительно пахла несвежей прачечной. Сам Володя ничего из приготовленного им не ел, а поскольку других продуктов в его распоряжении не было, то он исхудал до состояния мумии, а его короткие реплики стали ещё более желчными, чем обычно.

По утрам вставалось с трудом. Было уже прохладно и очень не хотелось выходить из надышанной десятиместной армейской палатки на ежеутреннее построение и показываться на глаза строгому майору Гаджиеву, руководителю их сельхозотряда.

- «Как фамилия? Какая группа?! - сурово глядя на опоздавшего, с заметным кавказским акцентом, отделяя одну «п» от другой, спрашивал майор, - два опоздания – выговор».

Поднимающееся солнце касалось своими лучами вершукшек недалеких китайских сопок по ту сторону границы и быстро разгоняло утренний морозец. Всё, сон прошел, можно на поле, ломать кукурузу. Ломали буквально – початки росли на двухметровой высоте, и просто доставать их с земли было утомительно. На его взгляд, кукуруза имела одно серьезное преимущество перед хлопком: здесь

можно было, как в лесу, завалиться под куст - или как там его - кукурузы и подремать. И, слава богу, машинной уборки здесь не было: увидеть с комбайна спящих первокурсников было бы затруднительно.

От институтских сельхозработ осталось знакомое по школьному хлопкоробству ощущение бессмысленности, остались еще отрывочные воспоминания о регулярных вечерних дегустациях местного розового крепкого, закатанного почему-то в трехлитровые банки, что с непривычки затрудняло справедливый розлив, да ещё о белеющем на фанерной доске объявлений листке-дацзыбао с трогательной угрозой: «Майор Гаджиев, над тобой сгустились тучи». В общем, началась студенческая жизнь.

Тридцать первое декабря. В институте заметно приближение праздника: в коридорах нелюдно, осторожными перебежками перемещаются сотрудники с объемистыми пакетами у живота, замаскированными под кипы деловых бумаг, чем-то неожиданно вкусным пахнет из-за неплотно закрытой служебной двери студенческой столовой на первом этаже... Канун любимого праздника. Часа в два он постучался в дверь преподавательской своей кафедры...

Еще в октябре третьекурсникам выдали задание на курсовой проект по парогенераторам. Срок сдачи – декабрь. Как водится, приступили не сразу. А когда приступили, то обнаружили, что работы много, понятно мало. То, что читалось на лекциях, оказалось не всегда похожим на то, что нужно делать. Курсовой вел Камбар Махметович, декан факультета. Времени на педагогику у него явно не доставало, да и положила руку на сердце, административная и преподавательская работа это немного разные сферы деятельности. В общем, к середине декабря всем стало понятно, что курсовой дымится. Стало немного легче, когда кафедра подключила к их проекту ассистента Владимира Петровича, чрезвычайно доброжелательного человека и знающего преподавателя. Но Петровича на всех не хватало, по всему выходило, что в декабре никто проект не защитит. В лучшем случае – в первые две недели января. Тоже, кстати, ничего страшного.

И тут внутри у него запустился тот самый асфальтоукладчик: «Невзирая на обстоятельства, всё должно быть сделано вовремя и в полном объеме». И он, что называется, уперся. Считал, консультировался, пересчитывал, чертил, писал, консультировался... Владимир Петрович, завидя его в коридоре, менялся в лице и старался скрыться за ближайшей дверью или завести разговор с кем-нибудь из

коллег, если скрыться не удавалось. Тридцатого декабря всё было готово. В конце дня он зашел к декану, получил допуск к защите и настоял, чтобы защита состоялась в срок, то есть завтра.

...Он открыл дверь. Камбар Махметович, склонившийся над составленными вместе столами посередине небольшой преподавательской, с недоумением взглянул на него, потом на столпившихся за ним однокашников – ребята пришли посмотреть на первую защиту – и быстро накрыл что-то на столе плакатом с красочным разрезом сетевого подогревателя.

- «Что?»

- «Курсовой защищать».

- «Может, после праздника? Зачем торопиться? У нас за это медалей не дают».

Насчет медалей – это была любимая присказка декана.

- «В графике написано же: тридцать первое декабря. И вчера мы договорились».

- «Ладно, сейчас соберу коллег. Подождите там немного».

Спустя много лет, находясь по другую сторону незримой, но четкой межи «студент-преподаватель», он оценил и выдержку преподавателей, внимательно выслушавших его доклад, и добродушный юмор заведующего кафедрой, патриарха Айзика Вольфовича, поблагодарившего его за прекрасный канун праздника, и собственную настырность. Оценкой этой он остался удовлетворен. Эх, куда же теперь делась эта уверенность в себе, где растерялась?..

...«Бойся конца!» - время от времени покрикивает Владимир Семёнович, Семёныч, тренер велокоманды политехнического института. Концы грифа старенькой штанги ритмично мотаются вверх-вниз вместе с приседающим Витей и действительно травмоопасны в низкой и тесной подвальной комнате. В углу Адик крутит в станке педали, наматывает километраж. Переднее колесо заслуженного «Харькова» слегка виляет по быстро вращающемуся ролику, видно, что Адик подустал, и колени уже расползлись в стороны, и дышит тяжело. За час на цементный пол с него набежала овальная лужа пота. Попробовали как-то установить на табуретке-вертушке вентилятор навстречу – не помогло, да и Семёныч дал понять, что не должно спортсменам-комсомольцам пасовать перед

трудностями. А конец, которого нужно бояться, неприятен ещё и потому, что после Вити, обычно, наступает его очередь. Витя, мастер спорта, метр восемьдесят пять, под восемьдесят килограммов удивительно живого веса, после сотни приседаний с шестидесятикилограммовой штангой легко сбрасывает её на стойку и кивает удовлетворенно: «Ты». Это испытание, однако. Хочется отстегнуть массивные замки и стянуть с грифа хотя бы пару блинов с рельефной надписью 10 кг, чтобы восстановить справедливость – пятнадцатикилограммовую разницу между собственным весом и весом Вити, но Семёныч отрицательно качает головой: «Работай». Да уж, действительно, «Бойся конца». ...Девяносто четыре, девяносто пять,.. сто. Семёныч помогает установить штангу на стойку: «Хорошо, отдышись и давай на станок».

Зима для велосипеда – не лучшее время. Пробовали пару раз выехать на трассу – скользко, холодно, пальцы немеют, мышцы дубеют, в общем – пустые хлопоты. Разве что перед случайными зрителями покрасоваться, да кому это интересно.

Недавно он увидел по Евроспорту Тур Трентино. Финиш четвертого этапа был высоко в горах. Кругом лежал снег, асфальт неширокого шоссе был темным и влажным. Мотоциклисты сопровождения, довольно-таки многочисленные зрители на финише и две рослые симпатичные девушки у пустой пока наградной тумбы кутались в куртки-пуховики. Гонщики в отрыве хорошо работали в последнюю гору, ритмично попыхивая облачками пара. А он вдруг вживую почувствовал, как холодно пальцам его рук, совсем не прикрытым влажными беспальными перчатками, как безнадежно замерзли колени и грудь под тонкой красной трикотажной велорубашкой. Да, зима не лучшее время...

Другое дело футбол. В зале сельхозинститута, где они тренировались по вечерам, их футбол выглядел так: четыре на четыре без вратарей, при этом две пары толкают ногами огромный тяжёлый набитый песком медицинбол, две пары – оперативный резерв – сидят на плечах у бегающих за мячом партнёров. Партнёром в этих играх у него всегда был Витя. Наверно Семёныч, а потом Арнольд, тренер республиканской студенческой сборной, что-то имели в виду, когда объединяли их в пару. Мощному Вите с седоком на шее порой удавались быстрые результативные прорывы по центру, когда же они менялись местами, то этот громоздкий кентавр



неверной поступью медленно бродил вдоль лавки у стены, и основная задача, которую он ставил перед собой, была не рухнуть.

Воскресенье – особый день, большая пяти-шестичасовая комплексная тренировка. Баскетбольная площадка была ровно-ровно засыпана свежесвыпавшим снегом по колено или даже по.., ну, в общем, кому как. Арнольд постоял, почесал под рыхлой вязаной шапкой обширную лысину, отороченную по краям светло-рыжим волосом, потом бросил оранжевый резиновый мяч к центру площадки, где тот сразу утонул в снегу: «Час играть!»

Чего не отнять у велосипедистов – это здоровья. Через полчаса активной толкотни площадка приобрела вполне пригодный для осмысленной игры вид, снег превратился в плотное, правда, скользкое покрытие, мяч уже не нужно было разыскивать и вытаскивать из сугробов, в общем, процесс пошёл. Тут появился Арнольд: «Закончили! Мяч сюда! Побежали!» О, то был кросс! Пять километров по заснеженной тропке до трамплина, от него километров пять-шесть вверх вдоль хребта невысокого горного отрога до моста по... это же самое в свежем снегу по целине, от моста уже спокойно по заснеженным тропкам, дорожкам и тротуарам назад на базу, ещё километров семь. Иногда взвешивались до и после таких тренировок: плюс-минус полкило недосчитывал каждый, хотя, казалось, сбрасывать было нечего: мышцы, мышцы, мышцы. В те времена в моде были брюки клёш, как у Трубадура в знаменитом мультфильме «Бременские музыканты», облегающие сверху в бедрах и коленях и круто расширяющиеся от колен книзу. Он поймал себя на мысли, что выглядел тогда наверное забавно в гражданской одежде: невысокий, коренастый, с рельефными ягодичными мышцами и квадрицепсами, с трудом упакованными в брюки-клёш, которые постоянно расползались по шву в районе колен. Однокурсницы, правда, посматривали уголком глаза.

Летом проще: крути, крути, крути. Здесь уже рост и вес бойцов не играли такой роли, впрочем, Витя и здесь был хорош, иногда казалось, ещё чуть-чуть поднажмёт он на подъёме, и легкая сверхпрочная итальянская цепь не выдержит, порвётся.

Последнюю свою гонку он запомнил навсегда. Подходил к концу четвёртый курс, нужно было выбирать между наукой и спортом. Он выбрал науку. Весной немного потренировался вполсилы с командой, всё-таки бросить сразу оказалось

тяжело. Не напрягался, катался. Открытие сезона пропустил, к концу мая накатал с тысячу километров – половину облегчённой мастерской нормы. Учился, отдыхал, радовался жизни...

Тем утром к нему подошёл Семёныч: «В пятницу групповая, сотня, прокатиться не хочешь?»

- «Не хочу. А надо?»

- «Надо. Команду не набираем. Володя, Витя, Адик... Четвёртого нет, Саша приболел».

- «Так зачёт по трём».

- «Рискованно».

Он и сам знал, что рискованно, сказал просто так.

- «Не готов я, знаете же».

- «Знаю. Сотню потерпишь, а?»

- «Ладно, прокатнусь».

- «Договорились».

Неширокое предгорное шоссе сразу после старта круто ныряло вниз, метров через сто пятьдесят-двести начинался затяжной полуторакилометровый пологий подъём, потом опять спуск, потом подъём... и так двадцать пять километров до разворота, где под зонтиками прятались в тени несколько судей и секретарей в ожидании гонщиков. Их задача – всех рассмотреть, все номера увидеть и отметить в журналах. Потом двадцать пять километров обратно – и всё повторить. В общем, ничего необычного, рядовая республиканская групповая гонка, сто километров, два десятка команд, командный зачёт по трём. Правда, что плохо, было не по-майски жарко, градусов тридцать. Вторая неприятность маячила впереди пелотона, Олег, Тушкан, лучший гонщик республики неожиданно появился в СКИФе, первой команде института физкультуры, которая и без того была недостижимо сильна. Его не ждали, поскольку всю весну он, как обычно, был на сборах в Сочи в составе сборной Союза. В отпуск, что ли, приехал? Принесла нелёгкая.

Со старта ринулись вниз, в нижней точке разогнались до семидесяти-семидесяти пяти. На старте это опасно: во-первых, тесно, во-вторых, народ ещё не втянулся в гонку, нет ещё чувства колеса и плеча соседа. На спуске обошлось без

неприятностей, а на подъёме началось... Олег дернулся и резво пошёл вперёд, за ним в голову подтянулись с десятков гонщиков, ещё человек тридцать попытались сделать то же самое, но их не хватило на весь подъём, поотстали, дальше, где цепью, где мелкими группками растянулись остальные. Он всегда начинал гонку тяжело, потом вкатывался, а сейчас, растренированный и расслабленный, он чувствовал, что тянуться за головой это самоубийство. Да и что упираться? Сказал же Семёнычу, прокатнись. Первый разворот он прошёл нормально, как планировал, не отпал, где-то во второй половине пелотона, ближе к хвосту.

«Живой, вроде», - подумалось ему, когда судьи и поворотная тумба остались позади, и он, встав с седла, набрал скорость после разворота. Тушкан работал со своей группой метрах в трёхстах впереди, их за бугром уже не было видно, а потому беспокойства они не вызывали. Догоняешь, пока видишь, теряешь из вида – успокаиваешься, это известно. Ближе к месту старта перед вторым разворотом он почувствовал, что устал. Всё же первые двадцать пять, хоть и вверх-вниз, но в целом спуск. Обрато – подъём. Тяжело. К развороту он добрался уже, что называется, на зубах. Пот заливал глаза, дышать было нечем. «Брошу, хватит. Втроём докрутят как-нибудь». Перед самым разворотом стояли сердобольные девушки и поливали гонщиков водой, кто из кружки, кто из банки. Одна, очень симпатичная, с силой плеснула в него водой из шоферского резинового ведра. Спасибо, милая, останусь жив, будем дружить. Нет, не будем... Ручка у ведра порвалась, ведро выскользнуло у неё из рук и вместе с водой ударило его в грудь и правое плечо.

-«Хорошо хоть не железное», - подумал он, инстинктивно пытаясь поймать мягкий, теряющий форму предмет, из которого разом вытекло на него литров пять грязноватой прохладной воды. Не поймал. Ударом пальца он успел расстегнуть ремень левого туклипса, освободил ногу и встал. Было больно, мокро и досадно: «Всё, приехал, надоело». И тут к нему подлетел на мотоцикле Семёныч: «Работай, пожалуйста, потерпи, Адик завалился, ободрался немного. Ребята подождут, догоняй!»

Адик с ребятами сегодня хорошо работали впереди, временами он видел издали их спины, но к ним не подтягивался. Договорились же, кататься. Незадолго до второго разворота он аккуратно объехал свежий завал человек из десяти-двенадцати, но знакомых красных маек там вроде не было, они мелькнули

в большой встречной группе чуть раньше. Дождлся, родной. Он сел в седло, сунул туфель в туклипс, затянул ремень... Пошёл! Что было дальше, он в деталях не помнил ни сразу после гонки, ни потом. Догонял. Фатальность ситуации была в том, что впереди остались двое, а на финише нужны трое. Эти двое, как бы они ни напрягались, ничего не решают без третьего, зачёт-то по трём. Время третьего становится результатом всей команды. Витю и Володю он догнал через полкилометра, они крутили педали в разминочном темпе, поджидали его.

- «Цепляйся», - пригласил рукой Витя и пристроился в спину Володе. Вот где он оценил широкие и мощные Витины плечи. Шли командой, узким уступом навстречу лёгкому боковому ветерку с гор, только не менялись. У него просто не было сил лидировать, удержаться бы. Витя служил ему волнорезом. Работал Володя. Очень сильный гонщик, постоянный член сборной республики. В прошлом году Володя защитил диплом, но имел право ещё год выступать за свой институт. Сейчас он готовился к переезду, его пригласили в команду красноярского алюминиевого завода. Они догоняли и обгоняли. Далеко-далеко впереди маячила неповторимая бело-голубая в крестах и саламандрах майка Тушкана. Этих не догнать. Дойти бы.

- «Терпи, финиш», - хрипло бросил через плечо Витя и встал с седла. Подъём. Последний. Всё.

Подъехал Семёныч на своём зелёном Урале. Потрогал за плечо, посмотрел в глаза: «Садись, - отстегнул он полог коляски, - велосипед в стойку поставь».

Он сел в коляску, нашарил там флягу с водой, потянулся губами к соске и обнаружил, что губы не открываются, слиплись. Подъехал Володя, оперся ладонью в шикарную сетчатой беспалой перчатке о бензобак: «Живой?». Выдернул из стойки мотоцикла зеркало, протянул ему: «На», - и покатыл в сторону города, о чём-то переговариваясь с ребятами из СКИФа. Он взглянул в зеркало. Оттуда смотрело на него незнакомое серое лицо с запавшими воспалёнными глазами и странной белесой коростой вокруг рта, на подбородке, щеках, шее и красной майке. «Лошадь стремительно мчалась по кругу, розоватые хлопья пены срывались с мундштука...», - что-то похожее пришло ему на ум.

- «Всё, Семёныч, отъездился я».

- «Ладно. Живы будем – не помрем».

В студенческой жизни непросто выделить что-то особенное и необычное. Вся она – особенное и необычное. Юность, романтика, дружба, любовь, общие цели... И твердая уверенность, что всё по плечу. А разве не так? За пять лет ты перемещаешься из эмбрионального состояния предположений и надежд туда, где ты нужен всем, где ты сам – надежда и опора. Где еще есть такой прогресс?..

После защиты дипломного проекта парни отправились на месячные офицерские сборы. А до этого были четыре года учебы на военной кафедре политеха, где из них готовили командиров взвода ПТУРС – противотанковых управляемых реактивных снарядов. Военная кафедра в гражданском вузе это структура двойного назначения. С одной стороны, подготовка офицеров запаса в режиме «дешево и сердито», с другой – гарантия студентам от призыва на срочную службу, что неизбежно после вуза, где военной кафедры нет. В общем, выгодно всем. Если, конечно, не считать одного дня в неделю, отнятого у основной специальности. Но по большому счету военная подготовка вносила в жизнь молодых людей разнообразие и адреналин, да и к дисциплине приучала. Дело нужное.

Первым делом им объяснили, что один день в неделю они не студенты, а курсанты, что отзывать нужно не «чё» или «аюшки», а «я!», да мало ли полезного написано в воинских уставах. Каким-то образом он попался на глаза начальнику цикла, и его назначили секретчиком их учебной группы. Секретчик – это мышечный придаток к тяжелому опечатанному фибровому чемодану с прошнурованными тетрадами студен... курсантов. Есть еще печатка с номером и кусок желтоватого пластилина. И подписка о неразглашении чего-то, навсегда оставшегося неизвестным, со сроком действия два года после окончания института.

На кафедре они изучали два снаряда: один проводной, другой радиоуправляемый. Общим у снарядов было то, что военная тайна требовала называть их «изделие». Так что изучали они два противотанковых управляемых реактивных изделия – 9М14 и 9М17.

...Подполковник Молочев деловито и четко водил длинной указкой по большой, в полстены, электрической схеме изделия 9М17: «Здесь подводится минус двенадцать вольт, здесь, - он перебросил указку вверх, - плюс двенадцать. Что мы имеем здесь? - он подвел конец указки к базе входного транзистора второго каскада усилителя, - вы, курсант?..»

Он встал, назвал себя...

- «Разрешите спросить».

- «Спрашивайте».

- «Товарищ подполковник, какие номиналы у резисторов делителя?»

- «Что?.. На вопрос отвечайте».

- «Так ведь без этого... Виноват! К ответу на вопрос не готов. Курсант ... ответ окончил».

- «Делаю вам замечание, курсант. Отвечаете по уставу правильно, а в предмете путаетесь. Здесь будет... - подполковник сделал паузу, - будет минусоватый плюс».

С подполковником они уже успели познакомиться и понимали, что он не шутит. Минусоватый плюс вошел в обиход как универсальный термин.

На выпускных сборах ребята приобщились к регламентированному армейскому быту. Жили в палатках вблизи танкового полигона, так что по ночам иногда просыпались от тяжелого гула проходящих невдалеке танковых колонн. Правда, после того как за отведенное уставом время их отделение с помощью БСЛ – больших саперных лопат – отрыло укрытие для боевой машины в полный профиль, танки перестали тревожить их сон. Они разучили и лихо исполнили на строевом смотре «Были мы вчера сугубо штатскими» и от души настрелялись из АКМ.

Командиром учебного взвода к ним в порядке прохождения командирской практики прислали курсанта-выпускника общевоинского командного училища Александра Пешехонова. Был он года на два моложе своих временных подчиненных, невысокий, спортивный, чрезвычайно подтянутый. Он с шиком носил выдавшую виды курсантскую форму, умело поддерживал субординацию, распоряжения отдавал так, что хотелось выполнять их беспрекословно, точно и в срок. В общем, Саша, как они звали его за глаза, являлся для них олицетворением армии, какой она должна быть. Как же хочется верить, дорогой Саша Пешехонов, что ты жив, что не накрыли тебя Афганистан и Чечня, что не мыкался ты десятилетиями в очередях за квартирой, что всё у тебя хорошо, командир.

## Начало карьеры

Вуз он окончил с красным дипломом и распределился в свой же институт для научной работы. Выбрал судьбу. Собственно к науке он начал понемногу подтягиваться еще на четвертом курсе. Уважаемый ДЖ, его будущий научный руководитель, шеф, предложил ему полставки лаборанта – тридцать семь рублей с полтиной – и небольшую работу в его компактной научной группе: собрать-разобрать установку, посчитать, начертить график, поучаствовать в экспериментах. Где-то на пятом курсе он написал первую статью. Сейчас он уже и не помнил толком, о чем она, но хорошо запомнил метод обучения и воспитания, которым руководствовался шеф. Вдвоем они наметили содержание статьи, просмотрели материалы, наработанные группой...

- «Пишите. Будет готово, обсудим».

- «А как писать-то? Я не умею».

- «Ну, когда-то нужно начинать. Возьмите готовую статью, проанализируйте и напишите по образу и подобию. Потом обсудим».

- «А если не получится?»

- «Если не получится, значит, не напишем».

- «Может, для начала вы напишете?»

- «Нет».

Он внутренне напрягся: «Рабство! Может, бросить всё это? Где справедливость? Уже испортил полрулона кальки пока чертил для статьи графики, обработал и собрал циферки в таблицы!.. Пусть теперь шеф делает свою часть работы, пишет текст, он умеет». Но чувство собственного достоинства не позволило отказаться. И он написал. Надо полагать, написано было неумело и коряво, но шеф, подправив кое-где логические ляпы, отправил статью в печать. С этого момента все статьи, личные или в соавторстве, он писал сам. Научился, набил руку. Был бы материал.

А вот вторая половина урока, который преподавал в тот раз шеф, впрямь не пошла. Ему всегда проще было выполнить работу самому, чем доверить кому-то: «Ладно, сам сделаю, а ты уж в следующий раз постарайся». Задачи становились

всё сложнее, сил они отнимали всё больше. Следующий раз не наступал. Асфальтоукладчик, погромыхивая вальцами, всё работал, работал, работал...

Экспериментальная часть диссертационной работы, та, что делается руками, была выполнена им быстро, месяцев за пять-шесть. Неожиданно в нем проявились кое-какие организационные способности, дремавшие до этого случая и не часто просыпавшиеся после. Он убедил шефа подключить к нему двух лаборантов, Марата и Юру, и организовал круглосуточную трехсменную работу на установке. Аргумент был железный – установка нарасхват, и занимать её надолго нельзя. Ребята по очереди работали с восьми и четырех, он работал в ночную смену, а к выходным подгадывал переналадку установки. Такой режим оказался очень результативным, но неожиданно для него был в штыки воспринят его юной женой. Впрочем, семейная жизнь – это тема отдельного разговора.

Потом он занялся обработкой полученных данных. А их накопилось много, десятка два аккуратно заполненных амбарных книг, во все времена использовавшихся в научных кругах в качестве рабочих журналов. Он научился виртуозно пользоваться логарифмической линейкой, но скоро в ней разочаровался: многоэтажные обобщающие формулы линейке поддавались плохо. Дерево – оно дерево и есть. В общем, обработкой он занимался год. А к концу этого года в продаже появились приличные отечественные калькуляторы, даже вспомнил название – «Электроника БЗ-18А», и он стал обладателем этого чуда: зеленые цифры табло красиво светились в темноте, легко считались длинные алгебраические и тригонометрические цепочки, но главное, там была функция возведения в дробную степень! Действительно чудо! Ради интереса он пересчитал пару своих журналов, потом увлекся и пересчитал всё. Надо сказать, что ничего нового он не получил, старушка-линейка не лгала. Если конечно не принимать во внимание, что сейчас у него ушло на это всего две недели, на всё-то про всё! Тогда он лишь посетовал, что не выпустили эти устройства на год раньше, что не знал он о существовании таких же японских. Но что значит в этом возрасте один год? Да ничего. Впереди бесконечная жизнь...

Через год диссертация «в осях» была готова. И тут грянула реорганизация ВАК. Закрылся совет в родственном НИИ, где ему уже зарезервировали место в очереди на защиту. То же происходило по всей огромной стране. Он бегал из совета в совет, сдал несколько кандидатских экзаменов, включая



зубодробительный университетский курс теормеха. На память об этом кошмаре остались три переплетенных варианта диссертации по разным специальностям и для разных учёных советов. В конце концов, четыре года спустя, он защитился там, откуда начинал: вновь открылся совет в том самом родственном НИИ. Так хотелось бы с гордостью и достоинством сказать, что закалился в трудностях... Увы! Потерял время, поистратил нервный ресурс, взамен обрёл традиционное отечественное дурное пристрастие, от которого с трудом и потерями избавился лишь через десяток лет.

Тем вечером после защиты в их полutorке на последнем этаже четырехэтажного дома был накрыт скромный стол. Конечно, правильнее организовать обстоятельный банкет в ресторане, но ВАК только что ввела запрет на ритуальные застолья. И если его предшественники просто исполняли последнюю и главную заповедь диссертанта «Не забудь организовать банкет», то ему пришлось в условиях немалой секретности накрывать стол несколько раз. В первый вечер собрались ближайшие родственники, руководитель с супругой, один из оппонентов, преподаватели кафедры – больше просто не разместились бы. Всё было вполне пристойно, немного официально, и закончилось довольно быстро. Назавтра застолье повторилось в более свободной обстановке – были коллеги из их научной группы, его помощники Марат и Юра, однокашники из тех, что случились в городе. В следующий раз заглянули друзья юности, потом соседи по дому, потом снова помощники и их друзья...

Было время обеда. Улица внизу за окном выглядела по-декабрьски сумрачно и слякотно. Недельной давности снег, шедший аккурат в день его защиты, слежался, осел и стал грязным и скользким. До Нового года оставалась неделя и сохранялась надежда, что снег все-таки выпадет к сроку. В квартире был беспорядок. Где-то глубоко ещё теплилась радость от успешной защиты, но она уже покрылась недельным слоем усталости от затянувшегося банкета. А что делать?.. Вчера, помнится, были друзья босоногого детства и Марат с Юрой. Сейчас Юра полулежал в стареньком кресле напротив. Ночевал здесь, что ли? Да нет вроде. Утром, когда жена уходила на работу, точно никого не было. Удачно, что маленький сын у тещи. А вот жена перед уходом нехорошо спросила: «Может, хватит?» Он и сам рад бы. Но идут... С Юрой вот Валентин пришел, Николай, Володя – лаборанты с соседней кафедры.

- «Шеф, с защитой тебя. Вот смотри, защищался ты всего полтора часа, а поздравляемся уже сколько?.. Неделю. Потому что человек хороший. Это замечательно... И ребята вот тоже хотят...», - Юра свободным жестом показал на коллег, присевших у стола, заставленного чем-то давешним, и принялся открывать пшеничную, которую достал из-за дивана. Неужели с вечера припрятали? Нет, вряд ли. На наших не похоже. Да ладно, на балконе ящик точно ещё оставался.

- «Шеф, а зажевать есть?»

Кстати о птичках... Жена ещё сказала, уходя, что продукты закончились. Или почудилось?

Он вышел на балкон. Весь первый этаж их дома занимал райотдел милиции, и на площадке перед фасадом дома сейчас как раз шел развод. Старший лейтенант прохаживался перед шеренгой сержантов и рядовых и что-то им внушал. Он поискал глазами и с удовлетворением заметил в углу сколоченный из серых занозистых деревянных реек магазинный ящик с шестью бутылками водки, в другом углу увидел несколько завернутых в старое одеяло трехлитровых банок с домашними помидорами с чесночком, укропом, перчиком, виноградными листьями. И теща, и мама делали их превосходно. Он взял левой рукой одну банку, неловко развернулся на узком грязноватом балконе... Тяжелая банка выскользнула из рук и, как ему показалось, медленно-медленно полетела в ящик навстречу торчащим, как клювики голодных птенцов, желтоголовым бутылочным горлам. Банка разбилась с легким хлопком: то ли помидоры забродили, что вряд ли, холодно, да и мамы готовили всё по-честному, то ли вакуум-эффект сработал. В общем, хлопнуло.

Внизу все как один синхронно повернули головы вверх. С балкона четвертого этажа неровной струйкой стекал вниз смешанный с водкой красноватый рассол, падали симпатичные помидоры вперемешку с большими бурыми листьями винограда, метелками укропа и желтоватыми зубчиками чеснока. Было видно, как у милицейских сержантов и рядовых заинтересованно заблестели глаза.

- «Хорошо, что мимо», - подумал он.

Старший лейтенант строго-вопросительно посмотрел на него снизу вверх, потом спросил пальцами: «Зайти?»

Он отрицательно покачал головой, для убедительности скрестил перед собой кисти рук – не надо.

- «Юра, возьми там помидоры, - взглянув на оставшиеся в живых три бутылки, позвал он с балкона, - по чуть-чуть – и закругляемся».

«По чуть-чуть» - это был пароль. Когда во время напряженной трехсменки им удавалось собраться вместе для обсуждения хода работы, кто-нибудь обычно предлагал: «Ну что, по чуть-чуть?..» Скидывались. Потом Юра или Марат бежали в «Тридцатку» - угловой магазинчик на пересечении двух соседних улиц, откуда возвращались с холщовой сумкой или непрозрачным пакетом с двенадцатым портвейном. Из чего тот портвейн давили, сказать трудно, но обещанные восемнадцать градусов он содержал. И наверное что-то еще, поскольку с него не только хмелели, но и изрядно дурели. Он вспомнил видение, бывшее ему то ли после двух по ноль-пять на брата, то ли одной по ноль-восемь – «огнетушителя», как называли это технократы: распластавшись по стене лаборатории, Юра, как усталый худощавый паук, покачивался и неловко перемещался в поисках двери. Он невероятным образом накренился и пытался то одной, то другой рукой нащупать дверную ручку, о которую время от времени ударялся головой. Одновременно он что-то непонятно рассказывал. Было слышно: «...по чуть-чуть... чисто символически...». Видимо, проигрывал вслух предстоящее возвращение в семью. Оставалось только найти дверь. Это не получалось, и Юра вяло сердился.

А «чисто символически» - это был задушевный тост, произносимый обычно, когда кому-то из компании приходило в голову, что пора по домам. Если тост проходил, то, бывали случаи, что до дому добирались не все. Нет, слава богу, все, но не все в этот раз.

Портвейн хоть и был недорог, но при регулярном употреблении перегружал семейный бюджет. Да и достать спиртное в те непростые времена можно было не всегда: дефицит, очереди, негативное отношение общественности. А в лаборатории был спирт. И было его немало. Спирт заливали в микроанометры, им протирали ответственные части измерительных приборов. Да мало ли для чего в научном хозяйстве нужен спирт.

Как-то раз в неярком послеобеденном солнечном свете он заметил, что спирт, до половины заполнявший полупрозрачный пластмассовый резервуар одного из микроанометров, болезненно пожелтел. Это было странно. Состарился, что ли?

Он подошел поближе, присмотрелся. Точно, пожелтел. Вот и защитный жестяной кожух мерной трубки покрылся снизу ржавчиной. Он осмотрел остальные приборы. Все два с лишним десятка микрометров имели те же признаки.

- «Юра!!!»

Подошел Юра, в халате, с двумя гаечными ключами в руках.

- «Это что?»

- «Где?... Не знаю, шеф, вроде ржавчина».

- «От спирта не ржавеет. Снимай, - ткнул он в ближайший прибор, - шланги пометь, перепутаешь потом».

Он отвернул заливную пробку, понюхал. Пахло спиртом, но как-то не остро. Он оторвал полоску бумаги, скрутил, сунул в узкое отверстие, вынул, протянул Юре: «Спички».

Смоченная спиртом бумага не горела! Что-то нехорошее промелькнуло во взгляде Юры.

- «Давай ареометр... Что видишь?!»

- «Ноль девяносто три».

- «А сколько должно быть? Читай на приборе... твою мать!..»

- «Ну, так хорошо. У нас плотность даже больше, чем требуется».

- «!!!... мать!!! Ты хоть понимаешь, что три месяца работы псу под хвост! Круглосуточной работы круглосуточному псу под хвост, твою мать!!!»

- «Рассказывай», - он сел на стул, обхватил голову руками. Показалось, что он чувствует, как седеют виски, сжатые ладонями, неприятно пахнущими сильно разбавленным спиртом.

- «Шеф, ну... прости, ну. Мы с Мараткой... иногда... чисто символически. Ну и из крана доливаем, как же. Ты же спирт в сейфе держишь, под замком. А мы вон как горбатим! Утром, вечером... Без премиальных, между прочим».

Бутыль со спиртом он действительно держал в сейфе. Не то чтобы бутылка была неприкосновенной, нет конечно. Но расход спирта никак нельзя было выпустить из-под контроля, это было чревато серьезными официальными неприятностями.

- «Какие премиальные?! Мало я в сессию с вашими зачетками бегаю! Заочники-бездельники, твою мать!..»

В тот раз обошлось. Угрозами и посулами он уговорил своих помощников восстановить по дням картину грехопадения и ему удалось воссоздать правильные показания приборов обратным календарным пересчетом плотности спирта, или что там теперь было в них залито. После того случая он сменил прозрачный как слеза ректификат на фиолетовый денатурат, хоть это и не одобрялось изготовителями микроманометров. Денатурат разъедал резиновые прокладки и оставлял темно-синий налет на внутренней поверхности стеклянных измерительных трубок.

Как-то на огонек в лабораторию зашел пожилой институтский шофер дядя Сережа и попросил у него стакан денатурата «с устатку». С дядей Сережей они были в приятелях.

- «Дядь Сереж, а может, прозрачного? Для тебя найду».

- «Не, денатурка пожестче будет».

- «Так отравка же. Денатурат – не натуральный, значит. Отравленный».

- «Шестьдесят мне уже. Не отравился, видишь. Так дашь?»

- «Бери. Юрке только секрет не выдай, а то работа встанет. На ацетоне-то, поди, манометры работать не будут».

- «А ты этим, азипрофилем заправь».

- «Изопропиловым?.. Отравятся ведь. Сразу отравятся. Посадят, на хрен. Ты просто Юрке не говори, ладно?»

Теперь, после успешной защиты, нужно было набраться терпения и ждать. Совет отправил материалы защиты в Москву, в ВАК, оттуда должно было прийти официальное утверждение, и тогда он окончательно и бесповоротно становился кандидатом наук. Бывалые люди говорили, что это займет пару месяцев. Более бывалые – полгода. Некоторые намекали на возможность привлечения Москвой «черного оппонента». А время шло. Сначала он ежедневно с пристрастием просматривал почту в ящике, ожидая найти там заветную почтовую карточку, которую заполнил и приложил к пакету документов перед отправкой в ВАК – такой был порядок. Потом настроился на более поздний срок и уговаривал себя не переживать: «Всё будет хорошо». Тем временем его по конкурсу перевели из

ассистентов в старшие преподаватели, он получил один полный лекционный курс, так что было чем заняться. Весной ему исполнилось тридцать три. Не слишком юный для кандидата наук возраст, но с учетом периферийности и множества объективных передрыг – приемлемо. Маленькие курьи крылышки за спиной почесывались и требовали полета.

Теплым апрельским полуднем он возвращался домой. Зашел в подъезд, вытянул торчащую сквозь прорезь почтового ящика газету, по привычке развернул последнюю страницу, где не было скучной политики, и двинулся наверх. Край глаза уловил какое-то скользкое движение от развернутого газетного листа вниз, к ступенькам. Он наклонился и подобрал плотный желтоватый бумажный прямоугольник с каким-то текстом, маркой, почтовым штемпелем... Так это же его почтовая карточка! Подтверждение из ВАКа! Свершилось!

В несколько прыжков преодолел он восемь лестничных пролетов до своей квартиры, открыл дверь, схватил трубку и позвонил на работу жене: «Получил!». Та приняла к сведению, но особой радости не высказала: то ли свыклась с мыслью, что всё уже позади, то ли затянувшаяся диссертационная эпопея со всеми сопутствующими обстоятельствами отняла у нее запасы жизненных сил. Увы...

А чувства требовали выхода. Он позвонил своему другу и коллеге, Гумару, жившему в двух кварталах от него: «Зин, привет. Гена дома?»

- «Привет. Часа через два будет».

- «Дело есть. Зайду?»

- «Зайди».

Гумар, Гена, как было позволено называть его близким товарищам, защитился за месяц до него в том же НИИ. И работали они у одного руководителя. Институт Гена окончил годом раньше. Порядочный человек, хороший товарищ. Всегда готов был помочь делом, советом, деньгами. Умел и отказать без обиняков, если видел, что ему пытаются вскарабкаться на шею, а это признак добротного мужского характера. Дома у Гены приятно было посидеть за чашкой чая или рюмкой чего покрепче – там всегда чувствовались любовь, доброта, простой домашний юмор...

- «Гена, как тебе удается чай так вкусно заваривать? Вроде, и чай тот же, и слоники на пачке те же...»

- «Мне секрет рассказали. Тебе открою, только, чур, никому. Заварку не жалей, сыпь больше».

Он заскочил в большой гастроном, располагавшийся как раз посередине недолгого пути, ткнул пальцем в поллитровую «Сибирскую», потом передумал и взял бутылку побольше, ноль-семь. Сибирская ценилась: удамой ямщик в тулупе, сорокапятиградусная крепость, «лучшие сорта пшеницы» в рецептуре на этикетке. В общем, соответствовала моменту. Зина наскоро накрыла на стол: мясо, сыр, огурчики, немного пригубила за компанию и терпеливо слушала его рассказ о мытарствах с диссертацией и сложностях семейной жизни. И то и другое было известно ей давно и в подробностях.

Через час, не дождавись друга, он засобирался. Пошатываясь от пережитого и выпитого, возвращался он домой с полупустой бутылкой, которую Зина завернула в газету и сунула ему в руку. Было тепло. Солнце клонилось к закату. Он зашел в свой подъезд, начал подниматься по лестнице. На первом этаже их подъезда квартир не было, поскольку с противоположной стороны весь первый этаж, а по слухам и подвал, занимал райотдел милиции. Было покойно и душевно, в глазах всё сильнее плыло. На одной из двух дверей, выходящих на лестничную площадку второго этажа, висела табличка «Отделение профилактики и надзора». Кто знает, какой отравленный алкоголем импульс сбился с пути в его голове? Он без стука открыл дверь и зашел. Последнее, что он запомнил – это изумленное лицо милицейского капитана, сидевшего за сиротским канцелярским столом, заваленным серыми папками, и голос откуда-то сбоку: «О, сам пришел!». Больше он не помнил ничего.

В спецмедучреждении ему не понравилось. Во-первых, было тяжело физически, да ещё нехорошо пахло тем, что накануне было выпито и закусано уставшими мужчинами, а во-вторых, когда часам к двум ночи к нему вернулась способность более-менее адекватно воспринимать действительность, он впал в смертную тоску по поводу наверняка загубленной карьеры: пребывание преподавателя вуза в вытрезвителе каралось немедленным увольнением. Даже если бы, скажем, вдруг – спаси и сохрани – стала известна порочная связь преподавателя с юной студенткой, это не явилось бы таким позорным проступком, если, конечно, проступок этот не был отягощен каким-нибудь извращением типа «обещал зачет и обманул». Цинизм не прощался.

Утром за ним приехали печальный отец, озабоченный тесть – пограничный подполковник-запасник и не по-доброму спокойная жена.

- «Как нашли?» - он испытывал муки и ждал облегчения хотя бы от перемены обстановки. Думать о большем не было сил.

- «Да уж нашли. Всю ночь искали. Спасибо тебе за всё», - жена зло хлопнула дверцей машины.

- «Обзвонили милицию, нашли след, с утра зашли к начальнику райотдела, нормальный мужик, обещал помочь, - сообщил ему тесть, - только он говорит, что ты грозил морду набить капитану, который тебя задержал. Надо бы извиниться».

Насчет своего буйства в нетрезвом виде он сильно сомневался, этого за ним не водилось. Максимум на что он был способен в таком состоянии – это снять с запястья часы и выбросить их в открытую форточку. Друзья это знали и в серьезном застолье усаживали его подальше от окна.

Начальником их райотдела был сурового вида моложавый майор. Они не то чтобы были хорошо знакомы, но при встрече здоровались, причем последнее время и за руку. Звали майора Джантемир Темирбулатович. Эти два восточных слова содержали в себе как минимум семьдесят пять процентов добротного железа, куда там зовущей Горе Магнитной. Как-то раз уже после этого случая он спросил майора: «Джаке, под дождем не ржавеешь?»

- «Меня дежурка возит, там не капает. К трансформаторным будкам стараюсь не приближаться».

Годами позже они случайно встретились на улице. Джантемир Темирбулатович был в штатском.

- «Сколько лет, сколько зим! Как служба, дорогой Джаке?»

- «Здравствуй, дорогой. Ты как? А служба... Ушел давно. Адвокатская контора у меня. Уголовные дела в основном».

- «Тяжело?»

- «Не сравнить».

- «Прошлая служба помогает?»

- «Служба помогает, люди мешают. Менты, не в свои дела лезут. А следки – и кто их учил?! – дела ведут как попало, везде ослиные уши торчат, умеют только фигурантов прессовать, – Джаке задумался на мгновение, - но, знаешь, пока они



есть, у меня всё будет в порядке, Иншаллах», - адвокат прощально махнул рукой и открыл тяжелую дверь нового трехсотого Мерседеса, - успехов».

Короче говоря, в тот раз обошлось. А года через полтора всё всплыло самым неприятным образом. Он готовил документы в ВАК на звание доцента. Совсем недавно они развелись с женой. Развод дался тяжело, он любил жену и сына, но иногда появлялись у него рецидивы тяги к вольной жизни, а жена устала и от долгой нервозности, и затаянного безденежья, и от рецидивов, и от чего-то ещё, что в таких случаях всегда складывается одно к одному. И подала на развод. Он умолял не разлучать его с сыном.

- «Хорошо, будет тебе сын, но под моим контролем и при одном условии».

- «?»

- «Ты отдаешь мне квартиру. Ты себе ещё заработаешь, а я уже вряд ли»,

- «Ты что?! А где я жить буду? Ты не забыла, что квартиру нам мои родители вымучили?»

Это было правдой. После свадьбы они прописались у его родителей в маленькой проходной двухкомнатной квартире, а после рождения сына получили право на очередь на жилплощадь, поскольку их оказалось слишком много на тридцати двух квадратных метрах. Но от права на очередь до самой жилплощади было как до соседней галактики. Тут его отец подключил все свои знакомства и связи и вымолил эту захудалую полуторку в центре города, где они теперь жили. Впрочем, он, кажется, уже и не жил.

- «А что? Предлагаешь меняться?! На две однокомнатные на окраине?! Сына не увидишь! Никогда».

- «А жить-то мне где?»

- «Найдешь... Знаешь что, забирай-ка ты себе нашу дачу, там и живи».

Была у них простенькая недостроенная дача на крутом косогоре в ближнем пригороде. Деваться было некуда. Если на чашах весов сын и квартира, то выбор очевиден.

- «Ладно».

- «Подпиши вот здесь. Завтра у нотариуса оформляем».

А назавтра она вдруг сказала ему: «Знаешь, я передумала. Дачу я тоже заберу».

- «А вчера сказала...»

- «А вот так».

С этого момента началась его тридцатилетняя, примерно так, бездомная жизнь. Но это другая невеселая история.

А сейчас, когда он готовил документы на доцента, ему позвонила явно чем-то разгневанная бывшая уже жена и сообщила, что она обращалась в юридическую консультацию по поводу автомашины: «Они отказали, ты представляешь?! Мы же тратились: бензин, резину покупали сами. Мы с сыном от этого материально пострадали. Имею право. А в консультации говорят, незаконно. Ещё и пристыдили меня! Ты можешь им подтвердить?»

- «Что подтвердить?»

- «Что у меня с сыном есть право на эту машину».

- «У меня самого нет права на эту машину, она отцовская, я по доверенности ей пользуюсь, ты знаешь прекрасно».

- «А ты отцу своему скажи».

- «Что?».

- «Ты издеваешься, да!? С отцом будешь говорить!?»

- «Нет».

- «Сына не увидишь никогда! А ещё я знаю, ты в доценты собрался. Так вот, я завтра же иду в институт и всё про вытрезвитель рассказываю. Ты же наверняка скрыл».

Ему стало зябко: пойдет.

- «А кому от этого лучше будет? Начальника райотдела накажут, а ты вечно будешь алименты копеечные получать».

- «Пусть. А ты хочешь жить и радоваться, да? Не получится!»

Конечно он скрыл. Не то чтобы злобно скрыл – спросили, а он соврал. Нет. Он просто не сообщил об этом в развернутой автобиографии. Не было там вопроса: «Помещался ли ты медицинский вытрезвитель в качестве клиента?» А нет вопроса – нет ответа. Ему было ясно: пойдет и расскажет. «Женщины коварны и опасны», - вспомнилась первая неразделенная его любовь Фира Якиревич. «Никогда не оставляй в руках женщины оружие против себя, она обязательно им

воспользуется», – спустя четверть века полезная мысль сформулировалась окончательно.

Он привычно запаниковал и отправился за советом к Гумару. Тот немного подумал и сказал: «Поговори с Эрнстом, я поддержу. И кафедра поддержит. Ты же не мальчик, в конце концов».

Эрнст Кимович был секретарем парткома института.

- «Кимыч, тут такое дело», - он рассказал ему свою печальную историю.

- «Ты беспартийный. Это хорошо. В первый раз в жизни говорю – это хорошо. А то было бы сложнее. Теперь давай разберём вопрос по порядку. Вы в разводе?»

- «Да».

- «Официально?»

- «Да».

- «Очень жаль тебя и твою половину. Особенно ее. И сына. Ты сына-то видишь? Разрешает?»

- «Пока не препятствовала. А по делу?»

- «А по делу вот что. Приходит посторонняя женщина, заметь, не жена, необоснованно жалуется на уважаемого человека. И мотив у неё есть, она обижена на тебя, ты же её бросил».

- «Это она от меня ушла, я умолял...»

- «Она ушла, он ушел – не важно. Разведенная женщина всегда брошенная. Значит, обижена, мстит. И почему мы должны принимать во внимание её рассказы?»

- «А если она справку из вырезвителя принесет?»

- «Двухгодичной давности? И по факту, сокрытому этим заведением?.. Ты же вроде умный мужик. Или кажешься?.. Исключено. А если бы даже и принесла, что там такого? Побывал в вырезвителе? Так повод был, объяснишь. Скрыл? Так молодец! Тебя бы здесь недоумком профнепригодным сочли, если бы признался. А жене, дружище, если хочешь, можешь сказать: по сравнению с тем, что мы здесь про тебя по долгой совместной жизни знаем – хе-хе – её заявление – да не будет заявления, не волнуйся! – выглядит мелковатым. Можешь не говорить, она сама это понимает. А ты там всего один раз побывал? Честно...»

- «Один».

- «Н-да, с трудом, с трудом... Ладно, иди. Не переживай. Что семью развалил – плохо. Остальное решим. Ты же испустил, кровью смыл. Смыл ведь?»

- «Смыл, - ему стало легче от общения с Кимычем, - портвейном в основном».

- «Ладно, иди. Заканчивал бы ты с этим».

В институт она не пришла.

...Вспомнилось вдруг... В тот вечер у них было дежурство в ДНД. ДНД – это добровольная народная дружина. Странное образование. Такое же странное, как большинство тогдашних добровольных образований. Раз в месяц несколько человек с факультета направлялись после работы в милицейский участок, кажется, он назывался ОПМ – опорный пункт милиции, и вместе с парой патрульных милиционеров два-три раза за вечер выходили на маршрут. Прохаживались. Им ставилась задача помогать поддерживать порядок. При этом было категорически запрещено участвовать в задержаниях и прочих активных действиях. И слава богу. Возможно, одноразовые эти дружинники умиротворяли как-то потенциальных дебоширов. Ну да, группа сравнительно молодых и трезвых мужчин (порой с вкраплением симпатичных молодых женщин) да ещё в сопровождении пары представителей власти в форме. Дебоширы и хулиганы относились к дружинникам в общем беззлобно, поскольку совсем не исключалось, что назавтра они поменяются местами. Сегодня ты, а завтра я. Если патрульным удавалось изловить или подобрать подвыпившего, то дружинники помогали препроводить его в ОПМ, где обычно был и небольшой зарешеченный отстойник, который позже емко окрестили обезьянником.

Так было и в этот раз. Часа полтора дружинники, он был старшим, уже отдежурили на маршруте. Добычей патруля оказался некрупный мужичок лет, наверно, тридцати, чуть-чуть старше их. Был он заметно навеселе, слегка растрепан, но не неряшлив, не успел ещё. На ногах мужичок держался, удовлетворительно соображал и адекватно реагировал на внешние раздражители. Подобрали его на темной скамейке, где он в одиночестве – сам на сам – допивал с горла поллитровку чего-то тёмного. Цвет напитка и этикетку в темноте разобрать было невозможно, выносить бутылку под свет фонаря никому не пришло в голову – какой смысл? Агдам – больше в округе ничем не торговали. Шмурдяк красный, короче говоря.

Мужичок при виде патруля страшно расстроился, но повел себя правильно. То ли впитал с жизнью эти правила, то ли просто характер такой. Он аккуратно отставил в сторону пустую бутылку, неловко встал, зачем-то вежливо извинился в сторону дружинников и безропотно дал патрульным взять себя под руки.

- «Дойдешь? Или воронок вызвать?»

- «Куда, а, ребята?»

- «Значит, вызвать».

- «Не-не-не... Не у-труж-ж-дайте. Дойду».

- «Пошёл, раз так».

Теперь он тихо сидел за решеткой в небольшой клетушке и время от времени обращался то к дежурному, то к дружинникам, которые постепенно проникались к нему симпатией.

- «Отпустите, а. Я домой пойду».

Дежурный, не отрываясь от какой-то бумаги, откликнулся:

- «Куда ты пойдешь? Сиди. Оформим, отвезут, поспишь до утра...»

- «А в туалет можно? По-малому, а, ребята?..»

- «Сиди, блин!»

- «Слушай, товарищ лейтенант, ты что? Пусть ходит», - вступился за мужичка кто-то из дружинников.

- «Ну проводи, если хочешь. Вон дверь».

- «А сам не дойдет?»

- «Положено».

- «Пошли, мужик».

- «От, спасибо, ребята».

Вернувшись в свой угол, мужичок немного оживился:

- «Слушай, я чего пузырь-то... К Галинке шёл. У меня там всё хорошо. А теперь вот..», - снова запечалился он.

- «Так ты бы дошёл сначала, а там уж...»

- «Ну да. Так вот получилось. Начальник, отпусти, а», - повернулся он к дежурному.

- «Сиди, блин!»

- «Да я сижу. Так уж вышло. А зато меня Галинка любит. А это уже кое-что!», – в голосе мужичка явно прозвучало воодушевление. Причем произнес именно Что, а не Што, как можно было ожидать.

Он смотрел на этого мужика за решеткой и думал:

- «Шёл бы ты к своей Галинке. Нефиг тебе здесь делать. Тоже правонарушитель!..»

- «Слушайте, товарищ лейтенант. Отпустили бы вы его, а, - прикрывшись ладонью сказал он на ухо дежурному, - он же не пьяный. Так... Что мы, пьяных не видели, что ли? Ну, выпил. Не буйнит. Галинка, вон...»

- «Зря мои люди его повязали, что ли? Это работа, между прочим», - он оторвался от своих бумаг и задумался на несколько секунд.

- «А, черт с тобой! Проваливай. Дээндэшников вон благодари. Помощники, на мою голову. Иди! Только быстро. А то наряд опять повяжет, тогда в вытрезвитель, сам знаешь».

Мужичок пулей метнулся из-за решетки, которую кто-то из дружинников сочувственно для него отворил, быстро прошел мимо сержанта, который хотел было придержать его - рефлекс есть рефлекс, но под взглядом лейтенанта передумал, открыл дверь на улицу и обернулся:

- «Спасибо, ребята. Я тихо,.. быстро... - а потом с воодушевлением добавил, - а зато меня Галинка любит. А это уже кое-что! – и исчез в темноте.

*К чему это вдруг вспомнилось, а? А, ну да. Его вон Галинка любит... Любила. А вот как это, когда тебя кто-то любит? Он попытался представить себе, вызвать в себе эти ощущения – меня любят. И не смог. Да и было ли такое? А... Кому это теперь интересно?..*

## Личная жизнь

Его отношения с противоположным полом всегда складывались сложно и запутанно. Что оказало главное влияние на его взгляд на женщину, он так и не смог понять. Со временем этот вопрос стал ему интересен. Не более, ведь вряд ли в зрелом возрасте можно рассчитывать что-то коренным образом изменить. Но хотя бы понимать...

Его родители относились друг к другу с уважением и любовью. Это он всегда чувствовал, а позже и понимал. В детстве с ним ничего необычного не происходило. Смешные детские любви с именами Дина и Фира были давно забыты, и память отыскала их в своих закромах как трогательный ностальгический подарок уже тогда, когда формирование его гендерного мировоззрения было, пожалуй, завершено. В смысле внуки уже подрастали.

Он был влюбчив, это правда. Несколько раз влюблялся так, что терял голову. И ни разу не решился сообщить ей об этом, лишь с острой ревностью наблюдал со стороны, как она оказывала знаки внимания кому-то другому, наверняка догадываясь, что причиняет ему боль. Позже, анализируя свои тогдашние ощущения, он определил для себя, что источником его нерешительности была не столько робость, сколько вопрос: «А что потом?» Может быть, инстинкт подсказывал ему, что признание в любви несет в себе какие-то тяжелые ограничения и пожизненные обязательства. А брать на себя обязательства он не был готов. А может, это и есть робость?

Это не остановило его в девятом классе, когда он, собравшись с духом, сообщил своей однокласснице Тане, что любит её. Голос немного подвел, но, кажется, она не обратила на это внимания. Она сказала: «Да». И это было искренне. Что значит «да», они пытались понять целых четыре года, не заходя при этом особенно далеко. Он всё никак не мог представить себя в роли главы семьи, а она, похоже, начала сомневаться и волноваться, что главного так и не случится. Он учился в одном институте, она в другом – мало ли что... Когда он неожиданно увидел её в компании какого-то молодого человека и почувствовал, что теряет её, то помчался к ней с предложением руки, сердце-то его уже было там. Увы. Таня сообщила, что Николай сделал ей предложение, и она согласилась. И что это любовь.

Все мы хоть раз в жизни переживали такое. Тем вечером он впервые напился до глубокого забвения, долго пролежал в беспамятстве в кустах возле её дома, а потом пытался поползти – идти не мог – до трамвайных путей, проходивших невдалеке, и лечь на рельсы. Это ему удалось, но было два часа ночи, и до первого утреннего трамвая было еще очень далеко. Он пролежал на рельсах с полчаса, озяб, а дома выяснилось, что ещё и перепачкался в рельсовой смазке. Руки, лицо, шею удалось отмыть, а пиджак и рубашку пришлось выбросить. Зато с этого дня он не пил портвейн номер одиннадцать. Если бы это был единственный алкогольный напиток в мире, он уже тогда стал бы трезвенником. Не случилось... Он тяжело переживал этот удар. Угнетало и то, что им опять пренебрегли. И кто? Любимая и любящая... Не урод, умен, силен, спортсмен... Почему?

В институте он увлекался, но всерьез не влюблялся – болели сердечные раны, и, похоже, появился комплекс страха серьезных отношений. Иногда он замечал заинтересованные взгляды однокурсниц, это бодрило, но ему были симпатичны другие, а этим другим он не был интересен. Впрочем, все это не было серьезно. Однокурсники тем временем объединялись в пары, начиная с третьего курса случались свадьбы, рождались дети. Но кто-то опасливый и осторожный внутри него шептал: рано.

Незадолго до окончания института он познакомился с совсем юной девушкой, школьницей. Случайно, на улице. Галя, Галочка. Ему было двадцать три, ей шел семнадцатый. Стройная, длинноногая, рыжеволосая, зеленоглазая, восхитительно красивая на зависть всем его друзьям. Он серьезно влюбился, она тоже, это было видно. Казалось бы, вот оно, счастье. Бери, люби. Немного смущало, что её отец, в прошлом главный инженер строительного треста, отбывал срок за финансовые нарушения. Хотя наверно это он пережил бы. Уже тогда, а двадцать лет спустя и подавно, этот факт биографии в глазах большинства являлся скорее признанием заслуг и гарантией безбедного будущего, чем поводом к порицанию. Инстинктивно его больше беспокоила их разница в возрасте и наверное в восприятии жизни. Совсем ведь девчонка. Ему приятно было привести её на вечеринку в компанию своих коллег, но она явно чувствовала себя скованной, когда обсуждались профессиональные или просто сложные темы, и стремилась уединиться с ним где-нибудь. Три года они безоглядно наслаждались друг другом, три года оттягивал он принятие решения. Один из женатых приятелей сказал ему тогда: «Что ты



девчонке голову морочишь? Любит она тебя. Ты любишь её. И человек она хороший: добрая, не капризная и верная, видно же. Бери в руки, люби и будь счастлив». Не понял он тогда этого совета. А потом было уже поздно...

Изнутри ты всё такой же, каким был десять, двадцать, тридцать лет тому назад. Всё такой же молодой и сильный, всё так же остры переживания обиды и радости, только радости, пожалуй, стало меньше. Всё так же трогает сердце, да и не только сердце, стройный девичий стан, нежная беззащитная шея, ждущий взгляд широко открытых навстречу прекрасных глаз. И всё так же хочется им верить, хотя жизненный опыт уверенно подсказывает: лгут. Что с тобой, дружище? Посмотри в зеркало. Седина, морщины, залысины... Глаза, в которых когда-то были уверенность и непробиваемый оптимизм, смотрят отстраненно и устало и ускользают, ускользают, как будто ты боишься поймать свой собственный взгляд. Чего бояться-то? Это же ты. Всё-таки почему внутри ты всё такой же? Почему мы так устроены? Почему твои глаза видят её лицо так, как будто и не расстались вы навсегда три десятка лет назад, как будто и не было у тебя потом других женщин, жён и детей от этих жён, и уже внуков от этих детей? Почему твои губы, почему подушечки твоих пальцев до последней подробности помнят эти чувственные и нежные окончания юной груди, которые тянулись и тянулись навстречу твоим прикосновениям? Почему ты всё так же ясно видишь её полузакрытые в неодолимой неге глаза, глядящие из-под дрожащих ресниц сквозь тебя куда-то далеко-далеко, где нет ни тебя, ни этой постели с развороченными простынями, подушками, одеялами и прочей постельной дребеденью, туда, где только она и звёзды? Почему ты всё так же ясно видишь перед собой её полураскрытые припухшие губы, две прозрачные капельки на стиснутых белых зубах, слышишь её неровное дыхание, переходящее порой в едва угадываемый стон и хрип? Почему ты всё так же остро ощущаешь ту возбуждающую боль от её ногтей, с нарастающей силой впивающихся в тебя, и кажется, что там, где они тогда побывали, и сейчас ещё видны глубокие серпики их следов. Почему?! Разве мало ты видел этого в своей долгой жизни? Да нет, много, на две жизни хватит. И наверно, если заставить себя, можно вспомнить всё это миг за мигом, лицо за лицом. Но нет, память сама достаёт из своей волшебной шкатулки то, что она считает самым ценным и дорогим. И не ошибается.

Спустя много лет он получил извещение через интернет, что его разыскивает некая Галина Петровна. После недолгих процедур он получил номер телефона в Германии и позвонил. Он сразу узнал её голос. Он почти не изменился, может быть, стал чуть-чуть глуше и тише. Но интонации остались прежними, всё, как тогда...

Да, искала. Хотела услышать.

Да, вышла замуж спустя год после того, как он сообщил ей, что женится. Родила двух дочерей. Развелась. Дочери взрослые, одна в Подмосковье, вторая в Германии.

Да, она видела его той давней промозгой осенью из окна своей квартиры в Электростали, когда он, будучи в Москве в командировке и, он уже не помнил, каким образом узнав её адрес, провел два часа на скамейке во дворе её дома. Он тосковал по ней.

Да, живет в Германии, вышла замуж за вдовца...

- «Как родители?»

Он вдруг услышал, что она тихо плачет. Так же тихо плакала она много-много лет назад, когда он сказал ей, что им нужно расстаться. Слезинки по одной капали на его плечо, к которому она прижалась и не хотела отпустить.

- «Папа умер давно, а мама – месяц назад. Мне так плохо...»

- «Галочка, прости меня. Ты знаешь, как я любил тебя...»

- «Знаю. Я тоже. Всю жизнь. Но это уже не важно».

Несколько раз они переписались, потом она замолчала. Он долго ждал, потом разыскал в соцсети адрес, написал, представился и спросил, почему Галя не отвечает...

...Он ещё раз перечитал короткое электронное письмо от её не знакомой ему дочери: «Мама не ответит вам, полгода назад её не стало. Онкология». Вот всё и закончилось, теперь уже навсегда. Какое страшное слово «навсегда»...

...А потом он женился. В студенческие годы он несколько раз бывал дома у своей однокурсницы, к которой был немного равнодушен, и с интересом обнаружил, что у неё очень даже симпатичная младшая сестра-восьмиклассница. Совсем ещё малышка. Двадцать и пятнадцать – это не то чтобы очень большая разница, просто разные возрастные категории.

Но время идет. Лет пять спустя он случайно встретил ее маму.

- «Как поживаешь? Говорят, в институте остался?»

- «Да».

- «Слышала, не женился?»

- «Выбираю».

- «Младшую мою помнишь?»

- «Конечно», - он сразу вспомнил симпатичную восьмиклассницу.

- «Вот вернулась из Москвы, переводится в ваш институт. Слушай, а давай мы вас поженим. Девочка она хорошая», - вдруг сказала она. Интонация была осторожно-шутливая.

- «А давай...»

Вскоре они поженились. По всему чувствовалось, что она правильно готовилась к семейной жизни. Будучи моложе, она, не в пример ему, была практичным и твердым человеком. Незадолго до свадьбы он в смятении сообщил ей, что звонила Галя и сказала, что беременна. Реакция невесты его озадачила: «Переживет». То, что казалось ему крайне серьезным аргументом, не имело для нее значения. Да уж, женщины как были, так и остались для него загадкой.

Молодая жена с самого начала создала в доме уют, она прекрасно готовила, вообще была хорошей хозяйкой и, он не сомневался, любила его. И он любил жену, но почему-то неожиданно для самого себя время от времени ему становилось тесно в семье и тянуло на волю. Да и зеленоглазую Галю он не мог изгнать из сердца, как ни пытался себя заставить. И не смог.

Могла ли их семейная жизнь сложиться по-другому? Наверно, да. Была бы она чуть-чуть терпеливее... Да нет, не в этом дело! Что уж перед собой-то лукавить. Был бы он чуть-чуть тверже и требовательнее. К себе. К сожалению, понял он это много позже, когда вернуть уже ничего было нельзя. Да и не нужно.

Через год на свет появился сын. Сыночек. Может быть, он не сразу осознал и ощутил себя отцом, время было сложное, он был по уши в работе. Может быть... Но любил он сына всегда. Это же сын.

В тот раз отец достал им пригласительный билет на детский новогодний утренник в новый окружной Дом офицеров. До этого мальчик не бывал на больших праздниках, где собираются много людей, а Новый год они обычно встречали в

семейном кругу. Сейчас он наблюдал со стороны, как его пятилетний сын ходит в хороводе вокруг елки, как по команде Деда Мороза и немолодой, но бойкой Снегурочки сначала неумело и неуверенно, потом оживленно и наконец радостно хлопает в ладоши, вовлекаясь в общее веселье. У него вдруг пронзительно защемило сердце: он знал, что ещё немного и они расстанутся. Всё шло к разводу и он ничего уже не мог с этим поделать. Гордость не позволяла ему валяться в ногах, да и вряд ли это помогло бы. Жена, как ему казалось, понимала, что не поздно ещё устроить свою жизнь, а твердости в достижении цели ей было не занимать, это-то он знал наверняка.

Так же щемило сердце, когда глядел он вслед юноше в синей болоньевой курточке, студенту, совсем мальчику, который, не оборачиваясь, уходил по плохо освещенному низкому коридору Павелецкого вокзала, а ему прямо сейчас нужно было повернуться, пройти сквозь турникет, выйти на перрон, сесть в электропоезд до Домодедово и улететь домой, откуда через пару месяцев отправиться в эмиграцию в далекую чужую страну. И он никак не мог повернуться и уйти. Он смотрел и смотрел вслед сыну, пока тот не исчез за поворотом длинного темного коридора – такой одинокий в огромном городе, такой бесконечно родной. Сын не обернулся.

В школе сын учился хорошо, рос толковым, упорным и, как ему виделось, вполне уравновешенным и разумным человеком. Мать не возражала против их свиданий, хотя и делала каждый раз паузу, прежде чем ответить согласием на просьбу о встрече. По мере взросления сына это вообще перестало быть проблемой: то ли она убедилась, что он не собирается настраивать сына против нее, то ли просто было не до того – нужно заниматься устройством собственной жизни. Его родители много бывали с внуком, особенно дед, который во внуке души не чаял и проводил с ним почти всё свободное время. И бабушка не оставалась в стороне, тем более что учился мальчик в школе, одной из лучших в городе, где она была завучем.

После седьмого класса сын решил перейти в республиканскую физматшколу, в то время одну из лучших в стране. С директором школы, в недавнем прошлом доцентом университета, он был знаком. Коллега всё-таки. Втайне от сына он зашел к директору и попросил проконтролировать и поддержать. Тот сразу выразил доброжелательное согласие. А когда вывесили результаты вступительных

экзаменов, его сына в списках не оказалось, хотя набранный им балл был полупроходным – можно принять, можно отказать. Конечно расстроились. Пришлось довольствоваться мыслью, что в его школе математику и физику преподают не хуже, чем в ФМШ, что в общем было правдой.

А сын поступил-таки в физматшколу. Он узнал, что будет дополнительный набор, сам записался на него и сдал вступительные экзамены. Как же он был горд своим сыном! Школа не пожалела: три года спустя сын стал одним из победителей союзной физической олимпиады и получил карт-бланш для поступления без экзаменов в любой физический вуз страны. Сначала нацелились на МГУ, но он намекнул сыну про Московский физико-технический институт, в который сам когда-то даже и не пытался поступать, таким он казался недосягаемым. Вот с этим студентом первого курса знаменитого Физтеха он и прощался сейчас в длинном темном коридоре Павелецкого вокзала. Сын не обернулся.

Он верил: сын вырастет, поймет его и простит. Эта вера жила в нем и поддерживала его. Сын вырос. Окончил с отличием институт, окончил бизнес-школу, стал руководителем серьезной компании. Женился на любимой девушке, она родила ему сына и дочь. В общем, сын был в порядке. Сын дважды крупно помог ему: один раз с трудоустройством в очень сложной для него ситуации, второй – дал значительную сумму денег на покупку квартиры. Впрочем, это другая история. Но главное в их отношениях, как он это понимал, случилось не так давно и выглядело совсем буднично. Они разговаривали. И сын сказал: «Папа, я всё понимаю. Но тебя не было рядом, когда я был маленьким и нуждался в тебе. Теперь ты для меня чужой». При этом сын смотрел ему прямо в глаза... Нет, не простил. Не простил.

Он слушал сына и думал: «Я горжусь тобой, сын. Ты взрослый, сильный, решительный, умный, успешный. Что мог, я тебе дал. Гены, по крайней мере, мои. А то, что меня не было рядом – ты всё знаешь, я рассказал, как есть, лгать тебе я не могу. Может быть, это и к лучшему для тебя. Может быть, поэтому и нет в тебе тех губительных комплексов, которые душили меня всю жизнь. И задушили. А что до меня... Невозвратимое не вернешь. Господи, как больно!..»

Развод принес с собой ещё одну беду: негде стало жить. У его родителей была небольшая проходная двухкомнатная квартира в центре, где какое-то время жил ещё младший брат с семьей, потом они оставили квартиру младшему брату и

приобрели однокомнатную кооперативную в окраинном районе города. Офицерской пенсии отца вполне хватило на оплату кооператива. Кстати, позже он с удивлением обнаружил, что по денежным доходам догнал отца-пенсионера, лишь когда стал деканом и оброс полуставками и надбавками к своей немалой доцентской зарплате. Может, действительно имело смысл после школы идти в военно-медицинскую академию? Портупея, эполеты, «офицерик, угостите девушку папиросочкой», приличная пенсия в сорок пять...

Он обосновался в отцовском гараже. Это было добротное кирпично-бетонное сооружение в длинном двойном ряду таких же сооружений. Задней стеной их гараж примыкал к местному теплопункту, поэтому в стужу внутри было не так холодно, как снаружи. Он раскладывал в Жигулях сиденья, надувал два пляжных матраца и бросал их поверх сидений, потом раскатывал спальный мешок и пару одеял – постель была готова. Тщательно развешивал по плечикам одежду, с этим приходилось быть очень аккуратным, ведь с утра в институт, на работу. Потом слегка принимал на грудь, это вошло в привычку, и укладывался на свое горбатое ложе в надежде на лучшее завтра. Иногда, правда, мелькала мысль: а не запустить ли двигатель и покончить разом со всеми невзгодами?

Тяжело было зимой: снаружи минус пятнадцать-двадцать, в гараже – минус пять-десять, в машине к утру по внутренней поверхности затуманенных стекол живыми струйками стекали капли сконденсировавшейся слабоалкогольной влаги. Выйти из машины – как прыгнуть с моста в ночную реку, а нужно еще привести себя в порядок, ведь в восемь поточная лекция. А лекция – это святое. Он и много лет спустя не очень хорошо понимал, как выдержал этот год или полтора, как коллеги не заметили того, что с ним происходит, а они, кажется, не заметили. Как он вообще остался жив?.. Вспомнилась чуть початая вечером и почти пустая к утру литровая банка спирта-ректификата на асфальтовом полу гаража возле дверцы машины...

## На подъеме

Тем временем по работе всё складывалось неплохо. Он быстро рос: ассистент, старший преподаватель, доцент. Освоил несколько солидных лекционных курсов. При этом с недоумением и досадой обнаружил пробелы в собственном образовании, а поскольку учился он всегда ровно и сильно, то, поразмыслив, возложил ответственность за эти пробелы на институт. Скрепя сердце, между прочим. Впоследствии он утвердился в этом мнении: периферия есть периферия. Вуз - это прежде всего научная и педагогическая школа: совокупность идей, целей, задач и ресурсов для их осуществления. Его научный руководитель, с которым они теперь работали бок о бок, собирая вокруг себя группу молодых исследователей, имел в виду именно это - заложить начало научной школы. В этом они не слишком преуспели, но – и это давно уже было его кредо – если ничего не делать, то ничего и не сделаешь. Эх, им бы ресурсы!..

Работа нравилась. Преподавание это такой род деятельности, где ты находишься в постоянном тренаже и, соответственно, в хорошем тонусе. На первых порах ему казалось, ну что тут сложного: подготовил материал, отрепетировал мимику и жесты перед зеркалом, прочитал в аудитории – свободен. Первую свою лекцию по термодинамике в бытность ассистентом он так и отчитал. И был вполне доволен собой. На следующий год просмотрел содержание той лекции, внес изменения и подготовил её уже немного по-другому, через год подкорректировал еще... Когда десять лет спустя он, готовясь к лекции, наткнулся в своем архиве на успевший пожелтеть конспект и с интересом заглянул в него, то подивился, насколько бестолково изложен материал. Сейчас он давал эту тему совсем по-другому. И что интересно, по-прежнему подготовка к двухчасовой лекции отнимала у него два-три часа. А ведь это после десяти лет преподавания фундаментальной дисциплины, в которой на его памяти не случилось никаких открытий, требующих мало-мальски серьезных корректировок в учебном курсе! Не странно ли? Он поделился сомнениями с коллегами, имевшими устойчивую репутацию крепких преподавателей, и успокоился: они работали точно так же.

По некоторым признакам он чувствовал, что студенты неплохо воспринимают и его, и его лекции, а это для преподавателя самое главное. Среди коллег, правда, попадались такие, которые уточняли: «скорее студентки, чем студенты». Бог им

судья. Да и в конце концов студентки это те же студенты, только чуть более симпатичные.

Честно ли он работал? Со временем это становилось все более важным. Во всяком случае, он старался. И всегда сознавал главное – а он был уверен, что это главное: от преподавателя и только от него зависит, что получится из студента. Вряд ли сам студент в состоянии оценить, правильно его обучают или нет. И если его научат неправильно, то и жизнь его пойдет неправильно. А жизнь-то одна. Примерно в таких образах виделась ему миссия преподавателя... Наверное, честно.

В тот день он ехал куда-то по не очень срочным делам. Стекла машины были заляпаны мокрой липкой дрянью, работали дворники, грязными брызгами разлетался из-под колес раскисший снег. Его немного беспокоило негромкое поскрипывание впереди справа, по-видимому, прихватывало тормозные колодки. Машину он всегда содержал в хорошем состоянии, нервничал, если что-то было не в порядке, и сразу принимался этот беспорядок устранять. Перфекционизм, психиатры знают... Он вернулся к гаражу, поставил машину у ворот, вывесил домкратом колесо и примерился, как бы его крутануть и послушать, что там. Покрышка была мокрая и грязная, дотрагиваться до нее не хотелось, и он осторожно, чтобы не запачкать манжеты свежей сорочки, вставил пальцы в отверстия диска колеса, тоже мокрого, но, все-таки, почище, и с силой провернул его.

Боль была резкая и сильная. Средний палец на правой руке был сломан, половина последней фаланги с ногтем болталась на грязном обрывке кожи, обильно лилась кровь. «Идиот! - была первая мысль, - матчасть же изучать нужно!» Он хотел оторвать явно ненужный остаток пальца, потом передумал, быстро перевязал как есть носовым платком, который пришлось отыскивать левой рукой в кармане пиджака под застегнутой длинной курткой, с трудом снял машину с домкрата, бросил его в багажник и сел за руль. Рука, занемевшая было, начала болеть, платок обильно покраснел, и почему-то стала кружиться голова. Он завел машину и попытался сообразить, куда ехать.

На станции скорой помощи, куда он добрался, его огорошили: «Вы вызывали скорую?»

- «Нет. Я сам приехал».

- «Надо было вызвать».



- «Вот он я, перед вами! Палец отрезало!»
- «Что вы мне своим пальцем в лицо тычете!? Вызывайте, приедем!»
- «А куда мне?»
- «Куда хотите. Лучше всего, в свою поликлинику».

Он впервые прилюдно грязно выругался – рука болела уже очень сильно и стало подташнивать – и поехал в поликлинику.

В травматологию его запустили без очереди как пациента с острой болью. Врач, молодой кореец, сказал: «Сейчас пришью, всё будет в порядке. Только как выйдешь, возьми бутылку водки, наркоз скоро отойдет. Мало не покажется» - после чего достал из серого бумажного пакета короткие кривые иголки с вделанными в них обрывками черных ниток и быстро пришил оторванный конец пальца на место.

- «Может, не очень ровно, извини, мы не пластическая хирургия, но будет целый. Про водку не забудь».

В чьем беспокойном мозгу родилось это новшество – телевизионная аудитория, не помнит наверное уже никто. В институте новшество активно внедряли, поскольку министерство выделило деньги и требовало исполнения. Несколько поточных аудиторий переоборудовали: у доски установили помост с аппаратурой – столом и большой серой видеокамерой с подсветкой, а над партами повесили несколько телевизоров, на которых слушатели, задрав голову, могли видеть то, что пишет для них преподаватель на листе бумаги под объективом камеры. То же самое видел преподаватель на мониторе, установленном на его столе. Для погружения в образ можно было и в микрофон поговорить. Может быть, кого-то из преподавателей это и устраивало. Кладешь на стол учебник, переписываешь его содержимое на лист бумаги под камерой, комментируешь написанное и обозначаешь паузами работу мысли. Вот только как быть без контакта с аудиторией? Что видят они на экране? Чем они там вообще занимаются?

...Слева в экран монитора медленно вползал длинный упакованный в шину толсто перебинтованный палец. Аудитория оживилась, слышался тихий смешок. За пальцем из-под шариковой ручки появлялись формулы и текст, но они явно были не так интересны. Палец медленно уползал вправо за границу экрана.

Аудитория успокаивалась. Потом всё повторялось. Надо ж, так повезло: неприятность с пальцем совпала с его очередью осваивать эти новшества. Он попробовал увеличить темп изложения и тем отвлечь внимание от злополучного пальца, но студенты запротестовали: «Слишком быстро. Не успеваем».

Слишком быстро... Давным-давно на первом курсе они с Володей Лысенко стали соревноваться, кто полнее и точнее запишет лекцию. Володя писал очень быстро. Буквы были маленькими, острыми, они сильно кренились вправо и почти не были связаны друг с другом. Клинопись. Но читаемо. Сам он писал более-менее ровно и связно, а вскоре научился писать так же быстро, как товарищ. Дома, правда, приходилось пробегать конспект заново, поскольку на лекции голова за рукой не поспевала. Издержки метода, что поделаешь. К концу семестра оба записывали лекцию за любым преподавателем в темпе изложения, сокращения слов считались браком. Иногда за раз получалось по десять-двенадцать плотно исписанных страниц, включая сакраментальное «Это и ежику понятно...» и даже «Вы меня ничем не разжалобите. Я по пояс деревянный!» Отделять зерна от плевел было некогда.

Шину с пальца вскоре сняли, тогда же ему удалось убедить учебную часть вывести его лекции из расписания телевизионных аудиторий. У доски с мелом в руке и листочком, на котором записаны названия разделов сегодняшней лекции, он чувствовал себя не в пример лучше.

*А как сейчас палец? Шов, который тот молодой кореец наложил, видно? Водкой-то он тогда запасся. И не зря, боль была серьезная. Нет, не видно. Снег, снег, снег...*

Научная работа тоже шла успешно. В институте он постоянно вел два-три хоздоговорных проекта, вокруг него сгруппировались несколько студентов-старшекурсников, которым было интересно работать с ним, а ему – с ними. Исследовательская тематика их группы была включена в большую всесоюзную программу по освоению энергопотенциала Сибири. Программу эту курировал известный московский ученый, профессор Юрий Леонидович, который совсем недавно был научным консультантом его диссертационной работы. Сам он объездил полстраны – от Прибалтики до Красноярска, выступал на серьезных научных конференциях, участвовал в проектировании и испытаниях промышленных объектов. Его стали узнавать и по публикациям, и в лицо.

Запомнился большой всесоюзный семинар в Таллине (давно уже Таллинне), на котором он побывал незадолго до своей защиты. Был февраль, на улице дул пронзительно холодный, влажный и чуть солоноватый ветер с моря, мрачная серая гладь которого была видна практически отовсюду. Наверное там были волны, но до моря было далеко. Узенькие улицы старого города, мощенные серым скользким булыжником, были безлюдны. Кое-где шел ремонт, там узкие тротуары были перегорожены новенькими струганными деревянными щитами, за которыми лежали небольшие кучи темно-желтого песка. Маленькие его струйки пробивались из-под щитов, и песок разносился прохожими по серому тротуару и серой мостовой.

В гостинице «Виру», где они поселились и где проходил семинар, было непривычно шикарно. Высокие потолки с тяжелыми богатыми люстрами, мягкие дорогие ковры, важные швейцары и сдержанные вежливые служащие – всё было внове, как и необычайно вкусные бисквитные пирожные с начинкой из грибов под финскую водочку в темном ночном стриптиз-клубе. Зато совсем родными оказались два мужика лет тридцати-тридцати пяти на вид: один худой и высокий в дорогом сером с искрой костюме с торчащим из кармана галстуком и чуть подмоченными расстегнутыми настежь брюками, второй – этот маленький и плотный, в хороших джинсах и роскошном свитере с пустой бутылкой в руке. Общим у мужиков было то, что оба они были финны, это ему потом объяснил питерский коллега, и оба были изумительно пьяны. Он слышал, конечно, что финны нередко на выходные скрываются в Прибалтике от своих суровых сухих законов, но полагал, что рассказчики привирают. Однако вживую это оказалось даже более красочно.

Финны спускались по широченной гостиничной лестнице. Высокий время от времени порывался справить небольшую нужду под одной из пальм, в опрятных деревянных кадках расставленных вдоль лестницы, а маленький пресекал эти попытки и заботливо пытался застегнуть на высоком распахнутый гультфик. При этом он протягивал высокому свою пустую бутылку, а тот обиженно от нее отмахивался. Завидев пару в лестничном пролете, крепкий гостиничный служащий в форме с позументами и лампасами метнулся к ним, дружески подхватил их за талии и отвел за высокую дверь с выгравированной на полированной стальной пластине мужской шляпой.

А по делу – сильное впечатление произвел на него профессор Георгий Степанов в военной форме с погонами полковника, который сделал обзор по целому научному направлению. Весь немалый материал доклада был сгруппирован у него на одном большом плакате, и всё было понятно и связно. Очень впечатлили стиль и ясность изложения. В последующем, готовясь к лекции, он старался, с переменным, правда, успехом, использовать то, что увидел в выступлении профессора. А потом выступал молодой доктор из Горького, почти его ровесник, Михаил Рабинович. Тема про странные аттракторы была ему практически незнакома, но напор и уверенность докладчика совершенно поразили его. Потом в фойе он видел, как седовласые корифеи-академики внимательно и с уважением выслушивают быстрые и четкие комментарии молодого доктора. Да, похоже, Горький – это не периферия... Позже он слышал, что профессор Рабинович давно уже обосновался в Калифорнии.

Вскоре после защиты диссертации он получил предложение от Юрия Леонидовича перебраться в Москву: «С жильём, конечно, придется потерпеть, у нас возможности ограничены, своего фонда нет. Но в конце концов всё образуется. А я бы вам свою лабораторию передал. У нас, черт побери, хронический кадровый голод. Некому работать в Первопрестольной». Ах, если бы вернуть то время! Во что бы превратились сейчас его скромные курьи крылышки, так жаждавшие полета!.. А тогда он даже не воспринял всерьез эти слова профессора. Подумал опасливо: «В родном институте меня знают, я быстро расту. Мыкаться без квартиры по углам в пасмурной столице... А здесь какое-никакое жильё». Москва, честно говоря, давно уже не казалась ему приветливой и радушной. И он промолчал. А профессор не стал настаивать. Да, если бы... Увы. Засбоил всеядный асфальтоукладчик.

## Московские встречи

Он с трудом разыскал московский адрес, который указал ему Вадим. Тот недавно переженился и съехал к новой жене. Их с Вадимом отцы, фронтовые друзья, и после войны какое-то время служили вместе на севере, потом Пётр Михайлович демобилизовался и обосновался на родине в Москве. Их было три верных друга: два брата-погодка – Вадим и Саша, и он, годом младше Саши. Ему было наверное лет семь, когда братья перебрались с родителями в Москву. Старший, Вадим, пошёл по милицейской линии, дослужился до капитана в МУРе. Саша служил в КГБ в личной охране высокопоставленного партийного чиновника. Очень впечатлила его когда-то Сашина утренняя зарядка. Рано утром он проснулся на своём диванчике, куда его, прилетевшего на пару дней в Москву, как обычно, пристроили на ночь. За неплотно прикрытой дверью тесной прихожей ритмично позвякивало что-то железное и тяжёлое. Он встал с диванчика и осторожно выглянул. Широкой спиной к нему стоял Саша и на вытянутых в стороны могучих руках покручивал полуторапудовые гири, к которым старыми капроновыми чулками были привязаны семикилограммовые гантели.

Братья попивали: Саша полегче, Вадим покрепче. Уволили их почти одновременно. Сашу по ускоренной процедуре. В ресторане известной в среде силовиков гостиницы Урал он не сошёлся с официантом в чём-то гастрономическом. Расстроенный непониманием, Саша уложил официанта под стол и заставил съесть спорный говяжий студень, после чего расплатился служебным удостоверением, тисненым кованым щитом, звездой и мечом, легко прошёл сквозь небольшой кордон из двух вышибал и швейцара и удовлетворенный вернулся домой к жене Валентине и дочурке. Наутро он получил в кадрах паспорт, вторично расписался о неразглашении тайн и пошёл устраиваться шофёром-грузчиком в соседний мебельный магазин. Сожаления по этому поводу он никогда не высказывал.

Вадима уволили в два этапа, сначала перевели участковым на стадион Динамо, а позже уволили вовсе после того, как, коротая за пивом время в его скромном участке под трибунами стадиона, летучая опергруппа затеяла дружескую возню, и один из оперов выронил из-за пояса на бетонный пол табельный ПМ. Опер рассказывал потом, что ПМ и в тире-то через раз давал осечки. Но здесь выстрелил-таки. Пуля застряла в бетоне стены, отколов изрядный

кусок штукатурки. Опер получил строгий выговор и неполное служебное соответствие, а Вадим устроился аргонным сварщиком на минус восьмом этаже под Красной площадью, где зарабатывал сейчас в три раза больше, чем когда тянул лямку в органах.

Уже темнело, когда он, следуя невнятному вчерашнему телефонному объяснению Вадима, разыскал наконец кирпичную пятиэтажку за двумя углами от кинотеатра «Эстафета». Грязноватый слежавшийся февральский снег давно не убирался, у подъезда, где в сером сугробе, почти сливаясь с ним, стояла выдавшая виды немытая «копейка» с частным московским номером, было скользко. В тесной кухне за столом сидели хозяйка, Вадим и Лена, и два незнакомых мужчины в цивильном: крепкий коренастый с сединой в аккуратно стриженных волосах и стройный молодой черноволосый красавец. На столе стояла початая бутылка пшеничной, вокруг неё были разложены по разнокалиберным тарелкам вареная колбаса, хлеб, солёные огурцы, на краю стола опасно балансировала пепельница толстого синего стекла с мятыми окурками. Две порожние бутылки валялись на потёртом линолеуме под столом. Вадим был, как обычно после первых двухсот, красный, медленный и молчаливый, Лена, наоборот, оживлённая и нервно-весёлая, прокричала: «О, наш доцент добрался! Привет, доцент!».

Старший из мужчин со значением посмотрел на него и веско произнёс: «Борис». Черноволосый протянул руку: «Толя. Будем знакомы» - и дружески улыбнулся. Он тоже представился, быстро снял пальто и подсел к столу: «Ну, будем знакомы!» - он достал из сумки и поставил на стол две бутылки сорокаградусного бальзама, который производился у них на ликёроводочном и доставался по большому благу. Считалось, что их бальзам составляет конкуренцию знаменитому рижскому, добыть который было уж вовсе невысказано. Сейчас, четверть века спустя, подзабытое послевкусие напитка вызывало образы мятной зубной пасты и чего-то, похожего на уайт-спирит. Впрочем, он, теперь давно уже непьющий, возможно, и ошибался. Борис тем временем подтянул к себе бутылку, неуловимым движением действительно большого пальца сбросил с неё тугую безухую пробку из желтой алюминиевой фольги, понюхал, удовлетворенно кивнул и налил себе в стакан под ободок: «Оно! То самое. И никакого запаха».

Лена громко шепнула: «Ребята из семёрки, на перекур заехали». Она служила прапорщиком в техотделе центрального аппарата КГБ. Вадим пристраивался к

Лене уже давно, задолго до того, как наконец перебрался к ней, поэтому они встречались втроём и раньше, когда он наездами бывал в Москве. Иногда на этих встречах присутствовали один-два парня из конторы, и его всегда поражало, как сильны эти ребята выпить.

Пригубили по сто пятьдесят за встречу. Бальзам очевидно пришёлся Боре по душе, он так и не отдал свою бутылку. Остальным пришлось довольствоваться содержимым второй, которую они попытались разбодяжить остатками водки. Получилось неважно, но главное, мало. Когда всё закончилось, он почувствовал, что захмелел. То ли долгий перелёт сказался, то ли бальзам, который он раньше пробовал лишь в виде незначительной добавки к водке или чаю, так подействовал, но его потянуло в сон. Остальные, однако, приняли другое решение. Толя сказал: «Вы тут отдохните чуть-чуть. Ленка, картошки, что ли, сварил. Мы смотаемся... Деньги давай, доцент» - и весело рассмеялся.

«Судьба», - подумал он, достал два червонца, отдал. Толя удовлетворенно кивнул, сунул деньги во внутренний карман чёрной кожаной куртки, в которую уже успел облачиться: «ОК». Он спросил: «Не дают же. Вечер уже?.. - посмотрел на часы, - полдесятого, не дают уже». Толя усмехнулся и подал Борису такую же, как у него, кожаную куртку. Борис тем временем медленно и сосредоточенно застёгивал молнию на поношенном зимнем полусапоге, потом выронил из кармана куртки связку ключей от машины, поднял их, помахал у него перед лицом: «Мигом. Одна нога здесь, другая... В общем, все ноги здесь».

Выпитое сказалося. Он потянулся за своим пальто: «Я с ними. Проветрюсь». Лена сердито попыталась его остановить: «Останься. Лучше не надо». Что она имела в виду, он понял потом.

Он вышел. Борис уже сидел за рулём той самой «копейки» и аккуратно подгазовывал, Толя выталкивал её из сугроба.

- «Я с вами», - сообщил он и уселся на промёрзшее заднее сиденье.

- «Ты только с Борей не разговаривай совсем, - сел и повернулся к нему Анатолий с переднего пассажирского сиденья, - совсем, понял?»

Он уже сообразил, что после бутылки бальзама, а перед этим-то наверное было и ещё, он точно не смог бы управлять своими Жигулями.

Тем временем они уже ехали. Борис сосредоточенно, как в перископ, смотрел прямо перед собой, Анатолий делал то же самое, словно помогая Борису контролировать неширокие местные заснеженные улочки. Машина быстро выбралась на Ленинградку. Движение в сторону центра было довольно плотное и медленное. Несмотря на минус десять-двенадцать, обработанный химией асфальт выглядел мокрым, да скорее всего и был таким. Борис уверенно направил машину под красный маячок в центральную резервную полосу, по которой редко-редко проносились высокородные Чайки и ЗИЛы, и вдавил педаль в пол.

Кое-где мёрзли одинокие гаишники в тулупах и валенках с галошами, но им как будто не было никакого дела до неопрятной «копейки», с небывалой скоростью мчащейся по запрещённой полосе. Он осторожно высунулся из-за плеча Бориса и взглянул на спидометр. Толя, не оглядываясь, левой рукой оттолкнул его назад на сиденье: «Сиди тихо». Но он уже и так сидел тихо. Хмель прошёл. Хотя спидометр, похоже, и не работал – стрелка лежала на правой полке циферблата – но было понятно, что так быстро ему не приходилось ездить никогда. Ленинградский, Горького, почта, Националь... Борис подогнал машину вплотную к входу в ресторан, остановился и откинулся на сиденье: «Вперёд».

Анатолий быстро направился к небольшой очереди, которая мёрзла у высоких закрытых дверей ресторана. Он двинулся за Анатолием. Тот ловко обошёл взроптавшую очередь и уверенно постучал в толстое стекло, за которым маячил дородный седовласый швейцар в генеральской фуражке и нарядном мундире с галунами и сверкающими пуговицами.

- «Наган из кобуры, удостоверение в зубы...», - подумалось ему с чувством превосходства над этими, мающимися в очереди.

Швейцар приоткрыл дверь: «Чего тебе?»

Неожиданно Толя рухнул на колени, протянул швейцару три червонца: «Батя, б... буду, сын родился, пропадаем!»

Назад ехали уже потише. Борис всё так же молчал. Толя удовлетворенно потирал руки: «Можем ведь, если нужно, а!»

- «Боря, что за машина? У меня, вроде, поновее, но сто шестьдесят точно не может».



- «Она и больше может, если нужно, а! Работа такая», - весело ответил Анатолий. Борис аккуратно и всё так же молча вёл машину назад, где ждали их трезвеющие друзья.

*Вот интересно, к чему всплыло это в памяти? Ах, да, тогда тоже был снег.*

## Пошли вы все!..

- «Касымхан, какого чёрта? Не готово же ничего!»
- «Шеф, нужно срочно. В совете всё уже назначено».
- «Что значит, всё назначено?! Почему без меня договорился? Какое ты имеешь право договариваться о защите в обход руководителя?!»
- «Шеф, подпиши!»
- «Нет».

Касымхан, Касым, хороший парень. Был Касым лет на пять моложе его, после тридцати пяти это уже ровесники. Были они на «ты» и были хорошими товарищами. До этого момента.

Тема диссертации у Касыма была небольшая, но для защиты достаточная. Не очень сложная экспериментальная часть, не очень объемная расчетная часть, энергичное грамотное руководство – их общий шеф и он – что ещё нужно?.. Был у соискателя и надежный тыл – его дядя, уважаемый ученый, доктор наук, секретарь ученого совета в том самом НИИ, в котором он сам защищался несколько лет назад и где в конце концов предстояло защищаться Касымхану. Был и недостаток, точнее два. Первый – пробелы в знаниях, связанные скорее всего со службой в армии после института, из них год в Афганистане, откуда Касым вернулся с Красной Звездой. К этому недостатку он относился с пониманием и старался «по месту» доучить товарища или в крайнем случае додумать за него и хотя бы так компенсировать этот недостаток. Сил хватало. Второй – тяга к общественной работе. Конечно руководство института было заинтересовано: все-таки свой выпускник, орденоносец... Да Касым и сам был не прочь попредседательствовать в каком-нибудь комитете, поруководить какой-нибудь выборной кампанией. Ладно, все мы не без изъяна. В общем, дело шло к завершению диссертации и защите. По всем расчетам оставался примерно год. И вдруг на тебе.

- «Шеф, подпиши! Место хорошее горит! Ждать не будут».
- «Иди работай! Что за место, если не секрет? Зам директора по науке где-нибудь?» - зная здешние обычаи, он вполне мог представить себе и такое.

- «Что ты, нет конечно, - Касым понимал, что вопрос задан неспроста и за ним может последовать нехорошее, - административная работа, руководитель отдела. Шеф, подпиши, я тебе обещаю, я никогда наукой заниматься не буду»...

...«В смысле светлое имя твое не опорочу, - неприязненно подумал он, - вот же гад какой! Мы на него силы, время, надежды... А ему срочно. И наукой никогда заниматься не будет... Спасибо».

- «Я понял. Будет так: даю полгода. Ты доделываешь эксперимент в срочном порядке – у тебя вот здесь и здесь дыры», - он ткнул пальцем в график выполнения диссертации, лежавший у него на столе под стеклом.

- «А вот интересно, у него самого-то есть такой график? - подумал он со злой горечью. - Впрочем теперь уже не так и интересно».

«Обработаешь и принесешь. Я сам напишу. Это всё, что я могу сделать. Свободен».

- «Шеф!..»

- «Иди. Свободен!»

А дальше... Он представить не мог, под какой пресс он попадет после этого разговора. Сначала с ним аккуратно поговорил его шеф и не то чтобы настаивал, ситуация-то была ему понятна, он просто выяснял, сколько ещё понадобится времени. Потом позвонил дядя Касымхана и очень деликатно спросил, как бы ускорить процесс и чем можно помочь. Ответ на эти вопросы он знал: «Я выложусь, пусть он выложится, бросит всё кроме работы. Сделаем быстро. Но нельзя же сырую работу к защите представлять!..» А потом ему позвонил директор того самого НИИ, с ним он давно уже был в приятельских отношениях: «А ты не делаешь ошибку, друг мой? Все-таки в нашей республике живешь. А ты, как я понимаю, в кандидатах засиживаться не собираешься. Докторскую-то к нам защищать придется, так ведь?..»

«А пошли вы все», - с нехорошим раздражением подумал он. Он так и не научился сдерживать это раздражение, порой переходящее в бешенство и толкающее на необдуманные и нередко опасные поступки. А небольшая, но увесистая гирька, глухо звякнув, нашла свое место на подходящей чашечке весов «уехать – остаться». Какое-то время спустя Касым привел свою диссертацию в более-менее приемлемый вид. И хоть и была она стачана на живую нитку, не было

уже сил и желания доводить её до блеска. Хрен с ним, проехали. Защита прошла успешно.

Много позже он все еще пытался разобраться, правильно ли повел себя тогда. Да, в соответствии со своим принципом «всё, и всё на отлично». Асфальтоукладчик... Но ведь не принес ему этот принцип ничего, кроме неудавшейся жизни. И не получается даже самому себе сказать: «Я жил правильно». Есть ведь и другой подход к жизни: брать от жизни ровно столько, сколько нужно для хорошего пищеварения, просверливать себе дорогу ровно такой ширины, какая тебе необходима, оставляя за собой плодородный удобренный след. Лумбрикус. Никто не трогает тебя, никого не трогаешь ты. А кругом и парадиз, и экология. И жизнь удалась. Эх, ты...

## Личная жизнь

В слякотный пасмурный зимний день он ехал к себе в институт. Краем глаза на тротуаре справа он увидел смутно знакомую стройную женскую фигуру в симпатичных спортивных брюках и короткой белой курточке.

- «В институт? - он притормозил. – Садитесь».

Он встречал её в институте и раньше. Сейчас присмотрелся. Симпатичная, спортивная. Наверно, его ровесница или где-то близко. По дороге разговорились.

- «Бывшая спортсменка. Разведена. Двенадцатилетняя дочь. Преподаватель».

- «Разведен. Девятилетний сын. Доцент...»

- «Я знаю».

Что подтолкнуло их друг к другу? Неустроенность и одиночество?.. Наверное, да. Она с дочерью занимала одну большую комнату в трехкомнатной коммунальной квартире на втором этаже старого кирпичного дома в центре города. Две другие комнаты занимала уйгурская семья. Еще в квартире проживали тараканы – на первом этаже дома располагалась известная в городе булочная-кондитерская, куда они еще в студенческие годы иногда наведывались на чашку кофе и пирожное-картошку. Соседка сразу устроила скандал, мол, не потерпит в коммунальной квартире ещё одного жильца и согласия на вселение не даст. Ах, так?! – и они решили вопрос радикально: пошли в ЗАГС и расписались. Теперь он поселился здесь на законных основаниях.

Спринтер – это не просто спортивная специализация, спринтер – это стиль жизни, это судьба.

- «Вот я супчик приготовила. Быстренько, быстренько...», - она мчалась с общей кухни с тарелкой бульона с кусочками недоваренного мяса, расплескивая содержимое и ударяясь плечами и ногами о дверные косяки и углы соседской мебели, расставленной в тесном коридоре. С кухни тянуло горелым.

- «Ой, картошка подгорела! Ничего, правда?..»

- «Вставай, дружок! Выходной сегодня. Побегает!?»

- «Да ты что, отстань... Я чуть живой... Вчера перебрали с друзьями немножко...».

- «Ну да, немножко. В час ночи тебя привезли... Ничего. Побегает – всё пройдет».

Вот за что он благодарен ей, так это за то, что она заставила его вспомнить славное спортивное прошлое и вытащила на беговую дорожку. На первых порах дело шло туго, особенно если накануне он нарушал режим. А это бывало. Он с трудом поднимался с постели, с отвращением брился, терзая неуклюжим «Харьковом» потную липкую щетину, долго чистил зубы и корчился под ледяным душем в надежде избавиться от тяжелого выхлопа и неприятных видений, угадываемых иногда боковым зрением. Потом, стараясь не менять резко положение тела, одевал что-то спортивное, натягивал и шнуровал кроссовки... Побежали.

В первый раз они медленной-медленной трусцой пробежали километра два по чуть присыпанному листьями асфальтовому терренкуру, проложенному вдоль берега небольшой чистой горной речки. Он переставлял ноги и думал в такт: «Если останусь жив... Больше никогда... Пивка возьму... Лягу... Пусть сама бегают...». Как ни странно, он добежал и остался жив. Хотя и понял это не сразу. Когда они остановились возле какой-то скамейки, перед глазами всё плыло, давешние видения ожили и глумливо мешали найти место, куда бы присесть. И дыхание... Он вдруг вспомнил свою последнюю гонку много лет назад: «...розоватые хлопья пены срывались с мундштука...»

- «На хрена... Помру ведь... Овдоеешь...»

- «Дай, - она положила два пальца ему на шею ниже уха и повернула к себе его часы, - сто сорок. Очень слабо. Бегать надо. Тебе только тридцать семь. Ты же мастер! Надо бегать».

И они начали бегать. Неожиданно он втянулся, ему даже понравилось. Исчезли одутловатость и одышка, рассосался небольшой лишний вес. Однажды на гребне знаменитой селезащитной плотины, куда они только что добежали из города – это полтора десятка километров вверх, вверх, вверх – она измерила его пульс, чеэсэс, как она это называла: «Двести. Другое дело. Хорошо, дружочек!»

Вот что ему никак не удавалось, так это объявить «пьянству бой, решительный и беспощадный», как призывал небольшой плакат, который коллеги безо всякого умысла прикрепили обойными гвоздиками на стене их лаборатории. И они никогда не забывали поднять в сторону плаката тост за правильную мысль.

Впоследствии он с интересом прислушивался к своему организму и удивлялся, как он, организм, выдержал всё это.

Но бег бегом, а остальное было совсем плохо. В комнате было тесно. Их кровать была отделена от кровати ее двенадцатилетней дочери лишь большим круглым столом, накрытым просторной скатертью с длинной бахромой по краю. Бахрома могла бы, наверно, служить защитой от внешнего мира для нетерпеливых и горячих юных сердец, но им было все-таки ближе к сорока, чем к тридцати. Соседи по квартире устойчиво их ненавидели и не забывали эту ненависть проявлять: то в стенку постучат, то стоящий на общей кухне холодильник на ночь чуть приоткроют. У него появилась была мысль отомстить соседям и уговорить жену озвучить часа в три ночи любовные переживания, но и переживаний особых не было, а высокое искусство не терпит фальши, да и дочь ночью неотлучно находилась за бахромой. В общем, не вышло.

Коммуналка это особый мир, где нужно уметь выживать. Побеждает сильный и, главное, упорный. Пару раз он попробовал поговорить с соседями и найти какие-то точки соприкосновения, но наткнулся на глухое непонимание и прекратил эти попытки. Жить в таком напряжении было совсем невозможно, и однажды он остался ночевать в гараже. Там было хоть неудобно, но привычно и спокойно. Потом ещё... И, в конце концов, прожив вместе полтора года, они расстались. Остались сожаление, чувство вины перед ней и её дочерью и ощущение себя конченным человеком: в сорок лет жены нет – и не будет. Или что там гласит народная мудрость по поводу сорока? Или там все расчеты и оценки вовсе на тридцати заканчиваются?

*А ведь не осталось никаких обид на женщин, которые были в его судьбе. Вчера обиды были, он гнал их от себя, а они не уходили. А сегодня – нет. И чувства вины тоже не осталось. Наверное стрелка на весах успокоилась наконец, и оказалось, что никто никому ничего не должен. Хорошо бы обойтись без ревизии этого баланса, ведь ничего уже не изменить. Ни-че-го.*

А потом он влюбился в свою студентку. Они поженились. Но это история из другой жизни...

Что такое двадцать лет разницы в возрасте? Тебе сорок, ей двадцать. Да ничто. Если ты не потерял интерес к жизни и не нажил цирроз печени, то вы ровесники. Правда, нужно учесть, что многие вопросы, ответы на которые тебе

однозначно известны, для неё внове. И тут перед тобой дилемма: либо попытаться убедить её не повторять ошибок, уже совершенных и оплаченных тобой, и воспользоваться твоим опытом, либо предоставить ей свободу действий и просто идти рядом с ней, она по целине, а ты – шаг в шаг по когда-то протоптанному тобой следу. Что выбрать – дело сугубо индивидуальное.

А если тебе шестьдесят, а ей сорок? Да, в общем-то, то же самое: ...если ты не потерял интерес к жизни и не нажил цирроз печени... С небольшой дополнительной поправкой на возраст. Возраст – это не физическая немощь, вроде пока держишься, не сглазить бы. Возраст – это боязнь совершить ошибку, на исправление которой просто не хватит времени. В молодости такой боязни нет.

В положенное время родился сын. Сынёнок. До радикальных перемен в жизни оставался год.



## Пора?

Ах, папа-папа... Он стоял за спиной у отца и с чувством глубокой, до слез, жалости смотрел на беззащитный маленький в старческих веснушках затылок, обрамленный редкими тонкими седыми волосами. Отец ел какой-то супчик, привычно и невкусно приготовленный на несколько дней им самим из купленной в соседней лавке полукурицы. После смерти мамы отец сразу и безнадежно сдал. Да и какие уже надежды у одинокого старика в чужой стране, которая непрерывно борется со всем миром за что-то свое, не нужное ни ей, ни миру.

Пора было уходить, с минуты на минуту должен был подъехать минibus, который увезет его в аэропорт, на улице ждали жена и сын, вышли проводить в долгую дорогу и на долгую полугодовую разлуку. Они с отцом попрощались ещё вчера, а сейчас, когда он стоял с женой и сыном на тротуаре возле большой дорожной сумки в ожидании машины, что-то вдруг подтолкнуло его, и он побежал к отцу в хостель.

Отец сидел в кухонном закутке своей комнаты и ел супчик. Он не стал вставать, просто сразу прослезился и прижался маленькой легкой седой головой к его рубашке. Вспомнилась вдруг офицерская фуражка с кокардой, окаймленной авиационной «капустой», которую он, маленький мальчик, очень любил примерять перед небольшим зеркалом в прихожей. Фуражка была ему сильно велика, сползала то на лоб, то на затылок, почти на спину, и приходилось туго затягивать блестящий ремешок под подбородком...

- «Спасибо. Спасибо, что зашел, сын».

- «Спешу. Очень хотел тебя увидеть. Прости, что мало. Сам понимаешь – семья, сын... Улетаю. Пока. Держись, солдат. До встречи».

- «Держусь. Не волнуйся. Всё нормально. Лети спокойно. Работай. Я всё понимаю. А до встречи... Не торопись, успеем. Прощай, сын. Ты знаешь, ты для меня всегда был главным».

- «Я знаю, папа. Я с тобой. Я люблю тебя».

- «Пошел. До свидания», - он обнял отца сзади. Тот снова прижался к нему маленькой легкой седой головой и прощально кивнул. Уже много лет они встречались и расставались так.

Он прилетал на несколько дней за тысячи километров с одной мучительно-спешной пересадкой в Домодедово, с облегчением проходил пограничный контроль в Бен Гурионе, в цоколе аэропорта входил в вагон, садился на мягкое синее сиденье дизель-экспресса и через два часа оказывался дома – в трехкомнатной съемной квартире в пятиэтажном здании, стоящем на склоне длинного холма между двумя скоростными проспектами – один вплотную, на него выходили окна квартиры, второй подальше; оба шли здесь на подъем, поэтому шум автомобилей и особенно автобусов днем и ночью был неотъемлемой частью жизни. Под горой за трехкилометровой полосой отчуждения на доброй четверти горизонта расположился большой нефтеперерабатывающий завод с вестовыми и дымовыми трубами с легкими облачками над ними, бетонными градирнями и куполами хранилищ. По ночам, когда немного стихал автомобильный шум за окном, слышно было, как завод ритмично пыхтит и постукивает, иногда глухо ухает и ревет, как будто матерая самка динозавра не может сдержать эмоций в любовных утехах.

Приходилось ложиться спать в радионаушниках. Поначалу он неплохо засыпал под чарующие стоны муэдзинов с FM-диапазона, но как-то утром почувствовал, что его неудержимо тянет пристроиться коленями на коврик, повернуться в сторону Каабы и кланяться, кланяться, кланяться. Он подумал, что вот-вот - и он может поддаться желанию примерить поясok шахида – всё к тому располагало – и с сожалением отказался от муэдзинов. Хорошо пошла классическая музыка, особенно легкий и воздушно-прозрачный Моцарт, но в четыре утра её обычно сменял диксиленд, который в капусту шинковал спокойные ночные биоритмы. Новостные передачи BBC с Кипра были продуктивны: под них и засыпалось хорошо, и английский язык стал продвигаться быстрее. Но вещание BBC прекращалось в два часа ночи, и под утро он просыпался от тяжелого шума и треска в наушниках.

Наушники эволюционировали. Сначала это были большие чашки с металлической дугой вокруг головы. Пожалуй, они добавляли мужественного авиаторского шарма, но спать в них было жестко. На смену чашкам пришли аккуратные ушные вставки. Эти поочередно выпадали из ушей, и тогда музыка в одном ухе смешивалась с шумом машин в другом. К утру вставки больно вдавливались в слуховое отверстие, как клин маленького испанского сапожка.

Впрочем, заканчивалось всё одинаково – рвались провода от постоянного нервного ворочанья в постели. Он даже ворочаться научился по-особенному: группировался и рывком переключался на другой бок, придерживая провода рукой. Совершенства, правда, не достиг, не всегда во сне удавалось контролировать движения – мешали мокрые от пота простыни, сбившиеся в жгут. Да и координация движений была уже не та что в юности. Как и координация мыслей.

Года полтора назад жена отдала ему свою мягкую серую наглазную повязку с встроенными в нее плоскими наушниками – техническая мысль не стоит на месте. На этикетке было написано “SleepPhones” и «Пижама для ушей» и был нарисован симпатичный кудрявый баран в наушниках. Баран так баран, не обидно. Зато провода здесь были прочные и пока не рвались. Говорят, повязку можно было даже стирать, предварительно вытащив из неё наушники, но было лень. Так он теперь и укладывался, надев на глаза и уши грязноватую универсальную повязку с Моцартом или новостями, почему-то всегда неприятными и тревожными. В целом всё это гармонировало с жизнью в квартире и за её окном и состоянием его души, задумчиво покачивающейся на легких качелях между «хватит» и «ещё нет».

В самом начале далеких уже девяностых годов он принял решение эмигрировать. Страна деградировала и разваливалась на глазах. Хирел институт, где он уже долгое время был уважаемым доцентом, деканом факультета и имел неплохую репутацию. В служебной характеристике так и было написано «пользуется авторитетом и уважением» и он порой задумывался, пользуется ли? Иногда хотелось как-то воспользоваться, особенно когда он видел, как студент-троечник паркует свой Мерседес рядом с его скромной «копейкой», но как?

Когда-то еще в бытность аспирантом они вдвоем с надежным товарищем перерешали за лето все контрольные задания для заочников по четырем предметам своей и смежной кафедр. Тогда они очень прилично заработали. Но это была хоть и не вполне этичная, но работа. Причем адски тяжелая, потому что решал он всё честно и правильно. Потом ему полгода снились замысловатые уравнения идеальной жидкости да назойливый сонм греческих букв, которые ради такого случая пришлось выучить, чтобы, не дай бог, не перепутать дельту и сигму или дзету и кси. Годами позже, периодически проверяя контрольные работы заочников, он вдруг погрузился в дежавю: где-то он это видел и читал. Всё решено

правильно, более того, безукоризненно, вот только греческие буквы исказились до неузнаваемости. Чтобы не мучить себя угрызениями совести, он за год переписал все контрольные задания для заочников по своим предметам и переиздал их. Эффект был впечатляющий. Следующий поток заочников почти в полном составе завалил его предметы, так как студенты не смогли к сроку выполнить контрольные работы. На экстренном совещании ректората ему погрозили пальцем и предложили поработать со студентами индивидуально: «Отчислить-то мы их, конечно, можем. Но с кем вы, уважаемый коллега, работать будете? Не забывайте, что на восемь студентов у нас приходится один преподаватель, восемь отчисленных студентов – это один уволенный преподаватель». Ладно, пришлось поработать индивидуально.

В суматошное время перестройки он довольно быстро втянулся в научно-коммерческую деятельность. Если в институте от хоздоговорной работы, которую ты сам же нашел и «в клюве» принес в альма-матер, тебе и соратникам доставалось не больше трети, остальное шло на оборудование, командировки, а главное – на содержание аппарата института, то в ВТК – временных трудовых коллективах, которые легко создавались и легко же исчезали – фонд зарплаты не был ограничен ничем. Правда, при таком подходе системная научная работа в вузах и НИИ очень быстро сошла на нет, так как умы и их муляжи быстро переключались поближе к деньгам.

Ему с коллегами регулярно удавалось продавать свои многочисленные научные и технологические наработки, поскольку многие однокашники, ушедшие после института на производство, были уже при высоких должностях и имели доступ к фондам развития своих предприятий, которые в любом случае должны быть освоены. Схема взаимодействия науки с производством здесь была простой: производство выделяло деньги, наука писала толстый отчет с более-менее приемлемыми рекомендациями, реализация которых, как правило, откладывалась на потом. Дальше – его подпись и печать ВТК со стороны науки, подпись и печать однокашника со стороны производства. Деньги делили. А деньги были немалые. За полгода удавалось заработать столько, сколько за десять предыдущих лет. Правда, деньги дешевели на глазах да ещё почему-то исчезали из обращения.

Хорошо запомнилось, как он по большой протекции получал в солидной сберкассе переведенную тем самым однокашником сумму за выполненную

работу. В огромной очереди толпились сумрачные люди. Денег к выдаче не было уже несколько дней, а если вчера на тысячу в соседнем ларьке можно было купить бутылку птичьего коньяка «белый аист», то сегодня уже только пятидесятишестиградусную водку «коленвал», прозванную так за ступенькообразное слово «водка» на серо-зеленой этикетке, а завтра и вовсе - розоватый портвейн... Всем было тревожно. Деньги с заднего двора сберкассы ему отгружали два дюжих охранника. Он отдал им большую сумку из-под грузового парашюта. В неё входило семьдесят килограммов базарной картошки, это он проверял неоднократно, закупая и закладывая овощи на зимнее хранение. Пятирублевки в пачках были, как оказалось, полегче картошки, но кило на тридцать сумка тянула вполне. Охранники помогли ему закинуть ее в багажник Жигулей, и он, чувствуя ответственность, поехал выдавать зарплату. Делили заработок на четверых – три партнера и однокашник – у него в гараже на большом листе фанеры. Купюры сосчитать было невозможно, поэтому деньги по-братски делили небрежно упакованными пачками.

Понятно, что формальная наука в стране быстро зачахла. В стороне от коммерции первое время оставались только философы и филологи. Эти воспряли духом позже, когда нарождающимся партиям и общественным объединениям потребовались более-менее оригинальные концепции и программы, а независимые национальные республики занялись переименованием городов и улиц. Вскоре стала исчезать и коммерческая наука, поскольку фонды развития производства у однокашников быстро иссякли, особенно после приватизации предприятий, как правило, теми же однокашниками.

Как-то на улице он лоб в лоб столкнулся с приятелем, которого не видел больше двадцати лет. Он знал, что тот окончил институт физкультуры и работал где-то тренером по игровым видам, кажется, по баскетболу. В его глазах это было признаком легкой интеллектуальной второсортности. Сергей только что вышел из своего белого Мерседеса и расстегивал последнюю пуговицу роскошного длинного черного кашемирового пальто с алой атласной генеральской подкладкой. Похоже, всё у него было о-кей.

- «Привет, Сережа. Сколько лет, сколько зим!»

- «Здравствуй, дорогой», - Сергей говорил медленно и со значением, как уважаемый кавказский человек. Они приобнялись, пожали друг другу руки.

- «Ты, я слышал, доцентствуешь?»
- «И деканствую немножко».
- «И как?»
- «Время, сам знаешь... А ты?»
- «У меня бизнес, - это было сказано серьезно, без привычной в таких случаях усмешки, - тупик в промзоне взял в аренду».

Сергей о чем-то задумался на секунду: «Слушай, тут тема возникла, хозяин склад продал, выселяют. А у меня там вагон спирта разложен. Нужно пристроить. У тебя есть кто? Лучше всего, чтобы купили. Перескладировать – деньги терять».

- «Как это? Я думал, спирт цистернами меряют».
- «В литровой стеклотаре. Рояль, слышал?»

Питьевой спирт Royal был ходовым товаром. В фигурной литровой бутылке с красочной этикеткой и роскошной надписью Royal с золотой короной он притягивал внимание многочисленных почитателей. Он и сам как-то пробовал его: жесткий вкус сивухи, осажденной чем-то химическим, остался на языковых рецепторах до сих пор.

- «Да, слышал. Польский?»
- «Наверно. Бумажка есть, сертификат. Там написано, что польский. Не бери в голову».

Что его дернуло тогда ответить, что пристроить, пожалуй, можно?..

- «А когда?»
- «В бизнесе всё всегда вчера, - назидательно сказал Сергей, - я должен освободить склад через две недели. Берем товар пополам. Там тысяч пятнадцать литров. Ты расталкиваешь свою половину, я свою. Оплата натурой».

- «Это как?».
- «В коробке шесть литровых бутылок. Каждая шестая твоя».
- «Я столько не выпью».
- «Бизнесмен... - Сергей снисходительно усмехнулся. - Продай, деньги за каждую шестую твои. Впрочем, можешь выпить. Но потом, после реализации. На похороны не забудь пригласить. Завтра в офис ко мне подходи, обсудим, - он протянул визитную карточку, - до завтра».

Назавтра они встретились у Сергея в офисе – небольшой комнате в многоэтажном здании бывшего городского управления транспорта. В коридорах было оживленно: тут и там сновали озабоченные люди с калькуляторами, пачками документов и прочими атрибутами деловой активности, вдоль стен были хаотично сложены коробки, ящики, тюки. В офисе были стол, два стула, телефонный аппарат с факсом, Сергей и наверное штук сто картонных коробок с Роялем в углу. Сергей прохаживался с беспроводным телефоном вдоль стола и с кем-то договаривался о поставке оптовой партии спирта. Он закончил разговор, протянул ему трубку: «Звони, договаривайся. Лучше, если сами приедут и заберут. Скидку дадим за самовывоз».

Он уже вчера пожалел, что согласился. Ну с кем он будет договариваться? Нет у него таких серьезных оптовиков на примете. Несерьезных тоже нет. Он знал, конечно, что многие студенты уже хорошо освоили этот рынок. Но не обращаться же к студентам, в самом деле. Однако взялся – делай.

- «Знаешь, ты мне доступ на склад дай и разрешение на вывоз. Остальное я сделаю. У меня две недели».

- «Ну, смотри сам».

В две недели он не уложился. Уложился в три. Действовал так: с утра заезжал на склад, загружал под завязку свою «копейку» коробками с Роялем и отправлялся по торговым точкам – комкам и ларькам, которых было великое множество на улицах их большого города. В цене он сориентировался быстро и сразу предлагал свой товар процентов на пять дешевле, чем конкуренты. Сейчас-то он понимал, что могли и побить, а тогда над этим не задумывался. Да и торговых точек было так много, что он всего лишь два или три раза побывал в одном месте дважды. Такой метод работы вполне соответствовал его подходу к жизни. Короче говоря, за три недели он продал всё. Барыш равнялся его двухгодичному доцентскому заработку. Тот же Сергей помог превратить умирающие рубли во вполне живые доллары, что по тем временам грозило чувствительной статьей уголовного кодекса. А что делать?

Из этого коммерческого опыта он сделал два вывода. Во-первых, купить и продать – это прибыльнее и проще, чем наука: изучать, искать приложение, предлагать решение, доказывать, внедрять... И уж точно быстрее. Утром стулья, вечером деньги. И во-вторых, его метод асфальтоукладчика – делай всё и всё

делай сам – в бизнесе не очень хорош. Сергей проделал ту же работу, не выходя из офиса: телефон, пара деловых встреч за чашкой кофе... Правда, и Сергей едва-едва уложился в три недели.



## Пора!

Ранней осенью в институте с деловым визитом побывал пожилой профессор из Германии, искал научные контакты в новом для запада мире. С профессором они провели за беседой всё время, которое тот запланировал на посещение института. Походили по лабораториям, пообщались, договорились, и через пару месяцев он получил от профессора Эффенбергера приглашение на месячную стажировку в высшую техническую школу города Циттау. Была приписка: можно взять с собой коллегу для недельного пребывания. Поездка за границу, да ещё на стажировку, да ещё за счет приглашающей стороны... Для скромного советского доцента это событие! Он пригласил своего товарища Александра, доцента с кафедры ректора. Ректор, правда, поморщился, когда он зашел к нему, чтобы обсудить поездку. Позже Саша объяснил, что ректор сам был не прочь прокатиться в Германию на недельку и ждал такого предложения. Тем не менее добро дал и распорядился заказать им загранпаспорта.

Германия только-только объединилась. Так что, хотя Циттау это Саксония, Восточная Германия, летел он все-таки уже в ФРГ. Там его ждали родственник факультет западного вуза, профессор Эффенбергер, три тысячи марок от приглашающей стороны, что входило в программу его стажировки, и месяц вольной заграничной жизни, к которой он прежде не прикасался даже кончиками пальцев. Союз-то он объехал от Таллина до Иркутска и от Североморска до Термеза – частью в детстве, частью во взрослой жизни, когда сформировались научные связи. Но за границей не бывал никогда. В юности он немного завидовал приятелям, которые, возвращаясь из турпоездки в Болгарию, привозили оттуда забавные авторучки, жевательную резинку и презервативы в симпатичной упаковке с картинками в тему. Позже он уже по-серьезному завидовал московским коллегам, которые запросто, как ему представлялось, бывали на международных научных конференциях в ГДР, Чехословакии и Польше, и потом в сборниках появлялись их публикации, напечатанные не по-русски. А ведь каждая международная публикация приравнивалась в табели о значимости ученого к десятку домашних статей. Увы. Хоть и столичный, но по большому счету периферийный их вуз не мог себе позволить серьезно сотрудничать с заграницей по причине хронического безденежья. Всё забирали на себя Москва, Ленинград, Новосибирск, Томск.

И вот он летит. В кармане загранпаспорт, полученный им впервые в жизни, и восемьдесят три новых марки ФРГ, которые ректор скрепя сердце распорядился выдать каждому из них на поездку. Остальное – впереди.

- «Уважаемые пассажиры, дамы и господа! Наш самолет готовится к посадке в аэропорту Тегель города Берлин. Аэропорт Шенефельд не принимает по погодным условиям. Просим всех приготовиться к посадке, убрать откидные столики...», - вот те на! Они с Сашей переглянулись. В Шенефельде, как было указано в подробной программе, присланной профессором, их ожидал некто инженер Лутц Маертенс, а что будет теперь? Он впал в беспокойство, граничащее с паникой. Вспомнились пограничники и таможенники в Шереметьево, которые, он это хорошо чувствовал, ненавидели его и хотели от него чего-то такого, чего у него не было. Восемьдесят три марки были нужны ему самому.

Он очень волновался, пока они медленно двигались к пропускному терминалу. Молодой парень в бежевой с зеленым форме взял протянутый ему паспорт, спросил: «Зигареттен?». Он не понял и переспросил: «Что?». Тот без интереса посмотрел на него и повторил: «Зигареттен есть?». Он отрицательно покачал головой. Парень поставил штамп в паспорте и махнул рукой: «Иди». Саша уже ждал у информационного киоска в центре большого зала. Здесь всё было не таким, как в Шереметьево, из которого они вылетели пару часов назад. Большой умеренно светлый шестиугольный зал. Не очень много людей. Рассмотреть подробно он не успел, но осталось ощущение спокойствия и деловитости. После шумного и ярмарочно суетливого Шереметьево это было не удивительно.

К ним подошел молодой человек лет двадцати семи-восьми, среднего роста, спортивный, круглоголовый, коротко стриженный, в очках в металлической оправе. Одет он был в симпатичную лилово-салатную спортивную куртку, свитер, джинсы и высокие светло-коричневые нубуковые туристические ботинки на толстой подошве.

- «Господа доценты к профессору Эффенбергеру?», - на странном, но понятном русском языке спросил он,

- «Да. Вы Лутц Маертенс?»

- «Лотц Мёртенс. Это я. В Шенефельде дали информацию, что ваш самолет полетит в Тегель. Облака низко. Я приехал сюда», - он говорил по-русски правильно с небольшим акцентом.

Пока всё развивалось по плану. У Лотца были для них билеты на вечерний поезд до Циттау, а так как до вечера оставалось время, они немного походили по Берлину.

- «Вон там Бранденбургские ворота, вы, наверно, знаете», - Лотц показал на что-то, видневшееся вдалеке в разрыве между каменными домами.

- «Конечно, - он подумал, не обидеться ли, - а где стена? Можно посмотреть?»

- «Стена... Нехорошо вспоминать. Вон там была».

- «А можно камень на память взять, осколок от стены?»

- «Ничего не осталось, через... вохе... как это... семь дней... неделю сломали».

- «На свалку?»

- «Свалку?.. А, нет, туристы всё забрали. Вам можно как сувенир купить. Не думаю, что будет настоящий».

- «Лотц, а русский откуда?»

- «Не понимаю».

- «Русский язык откуда знаешь?»

- «В школе учил, в армии служил в Дрездене, все время вместе с советской группой. Потом в Московском энергетическом институте учился».

- «И как институт? Хорошо учили?» - не могли не задать они профессиональный вопрос.

- «Хорошо. Интересно. Только пиво очень нехорошее в пивной. Там очередь все время. Дерутся. Плохо. Я из Германии пиво привозил, всем нравилось».

- «А как в армии с русскими служил?»

- «Я был солдат. Нас учили в карауле команды правильно по-русски понимать. Я даже сейчас помню, - он немного задумался, - «Стой, кто идет?! Стой стрелять буду! Стой, ... твою мать!» - по легкой усмешке было видно, что Лотц явно понимал изюминку отклонения содержания команд от требований устава караульной службы.

- «Советская армия, говорят, выходит из Германии?»

- «Да, у нас очень уважают Горбачева за это», - Лотц явно был искренним.

Распогодило. Послеобеденный ноябрьский Берлин был серо-розовый в свете чуть пробивающегося из-за облаков солнца. Было не по сезону тепло, около нуля. В

толстом сером китайском пуховике и лохматой саврасой меховой шапке ему было жарко. Людей вокруг было немного, возможно потому, что они шли сейчас не по центральным улицам города. А может быть, так казалось после Москвы, где они провели несколько дней в предотлетных формальностях. Зато было довольно много автомобилей. Мелькали знакомые третьи и шестые Жигули. По-мопедному тарахтели двухтактные Трабанты и Вартбурги, изготовленные, как говорили, из папье-маше. Мягко шелестели новенькие Мерседесы, Опели, Тойоты и Мазды. Всё как в кино. Его внимание привлек роскошный тяжелый мотоцикл с миниатюрным седоком, затянутым в расписанную заклепочным орнаментом толстую черную кожу. Мощный черный Кавасаки появился из переулка, притормозил перед главной улицей, заложил изящный выверенный вираж и с впечатляющим набором скорости ушел вверх по неширокой мощеной брусчаткой улице. Могучий мотор пел свою радостную песню, легко набирая обороты, в этом-то он знал толк. Вот он, Запад!..

До отъезда они заглянули в большой универмаг. Всё обойти, конечно, не успели, хотя неудержимо тянуло поближе рассмотреть оружейную витрину, примерить прекрасные ковбойские сапоги с подернутыми серо-зеленой патиной медными колесиками-шпорами, взять в руки длинное кашемировое пальто, как у бизнесмена Сергея... Окончательно сразила его невероятного шика куртка. Толстая, нежная, мягкая, переливающаяся в пальцах темно-коричневая кожа оставляла ощущение чего-то очень хорошего, но недоступного. Цена на бирке подтвердила это ощущение, и он с сожалением повесил куртку на место. Вот он, Запад...

На место они прибыли за полночь. В гостевом крыле первого этажа студенческого общежития был приготовлен аккуратный трехкомнатный блок с кухней. Необычными выглядели подоконные радиаторы водяного отопления, они состояли из двух параллельных секций, каждую можно было отключить, а одна еще и регулировалась – на ручке были деления и цифры. Сейчас одна секция была отключена, в комнатах было прохладно после трехчасовой дремы в поезде и теплом таксомоторе. Когда Лотц попрощался и ушел, они включили отопление на полную мощность, а чтобы не перегреться, перед сном настезь распахнули окна. Воистину, что русскому благо, то немцу смерть! Никакая немецкая бережливость и тяга к порядку не одолеют широту русской (он с сомнением взглянул в зеркало) природы.

Месяц в Циттау пролетел быстро. Этому были две причины: во-первых, всё было ново и интересно, а во-вторых, когда Саша через неделю улетел домой, он нашел в соседнем магазине хорошее недорогое вино, и оно чудесно скрашивало его одинокие вечера в большом и пустом теперь гостевом блоке. Лотц называл это вино студенческим. Оно продавалось в литровых бумажных тетрапакетах, как молоко, и стоило шестьдесят девять пфеннигов за пакет, заметно дешевле, чем пиво, и в четыре раза дешевле студенческого комплексного обеда, довольно, кстати, вкусного и сытного. Вино имело портвейновую крепость и было двух видов: испанское и южногерманское. Южногерманское светлое показалось ему вкуснее, и в последующем он брал на вечер один или два пакета – по настроению. На пакете был изображен лысоватый добродушный розовощекий селянин лет пятидесяти пяти с маленьким, но заметно пунцовым носом-пупочкой. Селянин держал в руке большую кружку, по-видимому с этим самым вином и всем своим видом приглашал: «Прозит», в смысле «Выпьем». Трудно было отказать. По всему было понятно, что мужик он неплохой, наверно даже хороший, и отказывать ему не следует.

Сам институт – хохшуде – особого интереса не представлял. Обычные лаборатории, хотя оборудованные получше, чем у него. Но задачи решались похожие и похожими методами. Сказывалась общая советская школа. Вот столовая у студентов здесь была великолепная. Большое двухэтажное здание, на первом этаже ресторан и банкетный зал, где они отобедали с ректором на следующий день после их приезда, отдав должное первому президенту их временно покинутой родины поднятием рюмок с водкой «Горбачев». Здесь же располагалась студенческая пивная с пятью-шестью сортами пива и маленьким баром-рюмочной с крепкими напитками, где его через неделю уже узнавали и, не спрашивая, наливали двойной «Горбачев» - это грамм сто двадцать – для русише профессор. А на втором этаже была студенческая столовая. Обедал он там с удовольствием. За два-шестьдесят – два-семьдесят на одном просторном пластиковом подносе с углублениями вместо тарелок подавали на раздате прекрасную отбивную с картофельным пюре, салат, сок и десерт, а также чай или кофе. Второй зал был рыбным.

Запомнилась экскурсия на местную тепловую электростанцию. Она стояла на берегу реки, другой берег которой был уже польским. Там вдалеке виднелась

похожая электростанция. Сопровождающий инженер подтвердил: да, близнец. А южнее – Лотц показал рукой – если забраться на крышу здания, можно увидеть Чехословакию. Позже отец рассказал ему, что именно здесь, недалеко, в Герлице, в мае сорок пятого он встретил победу. А сейчас они осматривали ТЭС. Накануне он пожалел, что не нашел аргументов отказаться от этой экскурсии. Что такое ТЭС, он знал хорошо и понимал, что светло-серый пуховик придется выбросить, и уже прикидывал, во что обойдется покупка недорогой куртки. Марок двести как минимум. Было жалко, да и не планировал он такие траты. Он уже распределил все причитающиеся ему деньги на предстоящие покупки – видеоплеер, магнитола, приличный шерстяной джемпер или свитер для молодой жены, ну что-нибудь ещё. Всё-таки полторы тысячи марок (полторы всё же забрали за проживание в гостевом блоке общежития) – это очень большая сумма и тратить её попусту было ни к чему. К его удивлению, после обхода работающего котла по лестницам и площадкам, после посещения цеха золоудаления на нем не было ни пылинки. Даже ладони остались сравнительно чистыми, не грязнее чем после поручней московского городского автобуса. Чудеса! Он посмотрел на макушку полуторасотметровой дымовой трубы, на фоне серого неба над ней виднелось светлое, почти белое облачко, явно пар.

- «А что, станция разве на газе работает? - спросил он с недоумением. - Мы же видели, что на угле». Лотц перевел вопрос сопровождающему.

- «На угле. Это наш ноу-хау. После объединения сразу поставили новые западные фильтры. И уголь теперь из Колумбии возим».

- «А раньше откуда?»

- «Отсюда, - он обвел рукой вокруг, - здесь везде... шахты».

- «Разрезы?»

- «Разрезы. Сейчас мы их засыпаем. А они, - он показал на дымящие трубы польской станции на том берегу, - так и берут. У них такие же шахты... разрезы, как у нас. Это одно угольное поле».

- «И сколько же это вам стоило?»

- «Это не известно. Знаем, что есть баланс. Говорят, дороже, чем сама станция», - так перевел Лотц ответ сопровождающего.

Тот немного подумал и с печалью добавил: «Скоро нашу станцию закроют. Экология. Сейчас Германия будет платить деньги туда, - он показал рукой на тот берег, - они модернизируют свою станцию, а нашу закроют».

Еще до отъезда Александра они побывали в чудесном месте – курортном городке Ойбин недалеко от Циттау. Игрушечный поезд из нескольких вагончиков с миниатюрным паровозиком довез их по рельсовому серпантину до небольшого горного городка, названия его он не запомнил. Дальше они пошли пешком вверх по натоптанной в неглубоком снегу тропинке сквозь редкий сосновый лес.

- «Это наши горы. Вы не устали?» - сказал Лотц.

- «Всё о-кей. Это не горы, а холмы».

- «Не понимаю. Вам не нравится? Я думаю, это красиво».

- «Очень красиво. Нравится. Просто у нас горы другие. Есть такие, что выше семи километров. А какая высота здесь?»

- «Да, семь километров – это высоко. У нас здесь, думаю, один километр. Может быть. Но красиво, да?»

- «Очень».

Вокруг и в самом деле было очень хорошо. Легкий верховой ветерок разогнал облака; шелушащиеся светло-коричневые стволы сосен, мягкая зеленая хвоя, белый снег под ногами и неяркое голубое небо над головой – всё это навевало покой и безмятежность. Ему на мгновение захотелось туда, вверх, в эту безмятежность, где наверное нет ни цветущих райских садов, ни покладистых вечных девственниц, существование которых всегда представлялось ему сомнительным, просто захотелось вдохнуть полной грудью кристально-чистый воздух и, как в детстве, тихо засмеяться от счастья, что ему так хорошо. И пропади оно всё!..

Тем временем они поднялись на гребень длинной горы. Позади за зеленой стеной сосен угадывался путь, по которому они поднялись сюда, а впереди на десятки километров до самого горизонта простиралась и исчезала в легкой дымке холмистая долина. Холмы, насколько доставал взгляд, были покрыты лесами.

- «Чехословакия», - сказал Лотц.

- «Так близко. А где граница?»

- «Я покажу. Пошли вперед. Здесь есть интересное место».

Интересным местом оказался небольшой трактир, видимо, здешняя достопримечательность. Несмотря на непростой пеший переход от конечной железнодорожной станции, внутри небольшого темного помещения были посетители. На круглых тяжелых деревянных столах горели свечи, под потолком висели тележные колеса, по бревенчатым стенам были развешаны доспехи, оружие, топоры и какие-то примитивные устройства, похожие на пыточные. Деревянная винтовая лестница вела наверх и исчезала в темном люке закопченного потолка. В углу в большом каменном очаге горел огонь. Одурающе вкусно пахло свежеприготовленным мясом. Венчал это великолепие хозяин – огромный бородатый мужик в толстом кожаном фартуке, надетом поверх широких холщовых портков и серой футболки с короткими рукавами. Фартук лоснился жиром. Из одного большого глубокого кармана выглядывала деревянная рукоятка тесака, из другого свисал блокнот с пристегнутой к нему авторучкой. Хозяин усадил их за свободный стол в центре зала и положил несколько меню в толстых кожаных переплетах.

Примерно по диагонали зал пересекала белая полоса, которая проходила как раз под их столом.

- «Что это?» - спросил он Лотца.

- «Вы спрашивали границу. Это граница. Я сижу в Германии, а вы, - он показал на них с Сашей, - в Чехословакии».

Они невольно оглянулись. С десятков посетителей, расположившихся по обе стороны от белой полосы, потягивали светлое пиво, закусывали огромными отбивными и вели свои довольно громкие беседы. Вопросы экстерриториальности их, похоже, никак не волновали.

- «Правда?»

- «Не беспокойтесь. Не опасно».

Мясо с огня было превосходно. Пиво – просто замечательное. Его было много и без очереди. И вообще жизнь была так прекрасна! На обратном пути они сфотографировались у ржавеющего полосатого пограничного шлагбаума с надписью «Halt! Staatsgrenze!», а спустившись в городок, из которого начали пешую часть прогулки, зашли в лютеранскую церковь. Церковь была тихая, опрятная и очень уютная. Внутри никого не было. К алтарю сходили ряды светлых деревянных скамей со спинками. На высоко расположенных окнах были



нарисованы неяркие витражи. Их содержания он не запомнил, но осталось ощущение покоя и порядка. Лотц спросил: «Вы ходите в церковь?»

- «Нет, к сожалению. Другое воспитание... К сожалению... Здесь красиво».

- «Я в Москве ходил в русскую... ортодоксальную церковь. Тоже красиво. Только... раскрашено, так да?.. Очень ярко. И тесно. Но это не важно. Важно, чтобы здесь и здесь, - он постучал двумя пальцами по груди и по лбу, - Бог был».

Позже он провел один день в Дрездене, это было предусмотрено программой. Сопровождал его профессор Эффенбергер, который жил в Дрездене. Часть пути они проделали на новенькой Вектре профессора. Было видно, что тот наслаждается новым авто. После ноль-третьей Лады, как стало понятно после оживленного обмена возгласами и жестами. День был ясный, было относительно тепло. Они побывали в Морицбурге, резиденции курфюрста Августа, представление о котором сложилось у него когда-то по «Петру Первому» Алексея Толстого, зашли ненадолго в большой готический собор, где его слегка ошеломил огромный с бесконечно высоким сводом зал, заглянули в мемориальный район, полностью разрушенный в конце войны бомбардировочной авиацией союзников. Но наибольшее впечатление произвели на него Мадонна в Галерее и болтающиеся явно без дела общеармейские советские офицеры с нехорошими глазами в шинелях, застегнутых как попало, или вовсе нараспашку.

Последнюю свою неделю в Циттау он был совсем один. Саша давно улетел домой, потом надвинулось Рождество, и даже Лотц, с которым они успели хорошо сдружиться, собрался к родителям в Котбус. В канун рождественских каникул Лотц зашел к нему:

- «У нас Рождество. Все уходят в отпуск, и я сегодня уеду. Двадцать третьего декабря программа вашего пребывания заканчивается».

- «Ты проводишь меня?»

- «Нет. Я не могу вас проводить, но не нужно беспокоиться. Вам ничего не нужно делать самому, мы всё сделали. Двадцать третьего декабря в шесть-пятнадцать приедет такси и отвезет вас на вокзал. Поезд Прага-Копенгаген довезет вас прямо в Берлин-Шенефельд».

Он очень пытался не показать Лотцу своего беспокойства, но ему это плохо удавалось: «Ещё целая неделя до двадцать третьего! А если такси не придет?»

Опоздает? Как я так рано доберусь до вокзала?» - у него не укладывалось в голове, что можно заказать такси на раннее утро далекого будущего и надеяться при этом, что такси вообще даст о себе знать. А если у таксиста будет более выгодный заказ? Да просто запьет в конце концов? Рождество ведь, всё равно что Новый год!

- «Почему опоздает? У такси есть ордер. Вам нужно выйти из общежития ровно в шесть-пятнадцать, сесть в такси и поехать в бонхоф... вокзал».

- «Сколько это стоит?» - зная нравы таксистов на родине, он очень волновался.

- «Не нужно платить. Институт уже платил».

- «Но ещё целая неделя. В такси не забудут?»

- «Невозможно. У них ордер».

- «Ну ладно. А поезд?»

- «Поезд будет в бонхоф... вокзале в шесть-сорок. Вот ваш билет. Вот вагон, вот место».

- «Ну, хорошо, а как я пойму, где мне выходить? Я совсем не слышу, что говорят по-немецки».

- «Важно только не пропустить правильное время, потому что в Берлине у поезда будет много... несколько остановок». Лотц развернул перед ним маршрутную схему и показал: «Вот Берлин. Вот время, 12-21. Это не для Вас. А вот Берлин и время 12-39. Здесь выходите. Это аэропорт».

- «А если поезд будет опаздывать или раньше приедет?.. Двадцать одна минута, тридцать девять минут – это же одно и то же!» - он волновался.

- «Невозможно. Иногда может ошибаться... Одна минута».

- «Одна минута, две минуты...», - он волновался сильнее.

- «Две – тоже возможно. Больше – нет».

- «Ну ладно. Спасибо».

К обеду он зашел в институт и попрощался с профессором и сотрудниками кафедры, поздравил их с наступающим мерри крисмас.

Теперь он просто гулял по центру города. Очаровательные тихие мощные темно-серым булыжником улицы с редкими-редкими легковыми автомобилями на них, узкие фахверковые дома в два-три этажа по обе стороны навевали добрые

детские мысли о гномах и белоснежке, двенадцати братьях и бременских музыкантах. А если с утра он успевал пригубить южногерманского светлого, то время от времени с удовлетворением чувствовал на себе внимательный взгляд давешнего селянина откуда-то из-за кружевных занавесок верхних этажей. Он, возможно, и откликнулся бы, мужик-то селянин был неплохой и правильный, но всегда рядом оказывался вход в симпатичный пивной подвальчик, а пиво тоже заслуживало вдумчивого к себе отношения.

Еще до отъезда Саши они побывали в нескольких городских пивных. Помимо множества сортов изумительного пива они оценили три обстоятельства: чистоту, отсутствие толчеи и какой-то особый привкус порядка и культуры, связанный то ли с вековыми пивными традициями, то ли с общей тягой немцев к порядку.

- «Смотрите, смотрите, - Лотц понизил голос и бровями показал куда-то за его спину, - Алкоголист!..» Они с Сашей медленно, как бы между делом, оглянулись. Через один стол от них сидел приличного вида мужчина. Перед ним стояла кружка светлого местного пива на фирменной круглой картонке и малюсенькая, грамм на пятьдесят, чарка с водкой. Мужчина с видимым наслаждением пригубил чарку и отхлебнул из кружки, потом закурил и задумался.

- «Ты его знаешь?» - Саша посмотрел на Лотца.

- «Нет».

- «Не понял... Алкоголик?»

- «Водка с пивом... Нехорошо».

- «Лотц, дружище! Ты же в Москве пять лет учился. Что с тобой?»

- «Здесь не Москва. Германия».

Как-то раз уже затемно он возвращался с прогулки домой. На узкой улице было пустынно, иногда чуть поблескивала мостовая, поймав влажным булыжным боком неяркий блик уличного фонаря. В окошках по-домашнему тепло светились разноцветные предпраздничные огоньки. Он никуда не торопился, совсем не интересно смотреть телевизор, если не понимаешь ни слова, а просто слушать музыку чужого языка, пусть и приятную, дело утомительное. Других развлечений не предвиделось, в пивной он уже побывал, оттуда и шел, а общение с добродушным селянином можно было отодвинуть, оно в любом случае входило в вечернюю программу. Его обогнал мальчик лет восьми-девяти со школьным

ранцем за спиной. Он посасывал через соломинку апельсиновый напиток из стограммовой бумажной упаковки, успевая на ходу поддеть носком симпатичного сапожка что-то невидимое на чистом влажном тротуаре. Откуда и куда он в поздний час? Впрочем, это его дело. Напиток закончился, мальчик на ходу смял и отбросил бумажный пакет в сторону. В это время сзади послышались быстрые тяжелые шаги, его обогнал мужчина, догнал мальчика и остановил его за плечо.

- «Так, начинается. Просто убийца или педофил?»

Мужчина развернул мальчика, что-то сказал ему негромко, но строго и назидательно, и пошел дальше. Мальчик, понурясь и загребая ногами, вернулся, поднял пакет, донес его до расположенной неподалеку урны, опустил туда, вопросительно посмотрел вслед уходящему мужчине и двинулся вперед, вскоре свернув в проулок. Да, нравы тут у них. Пора с добрым селянином посидеть. Этот ничего неожиданного точно не выкинет.

В двенадцать-сорок потный и взволнованный с туго перевязанным распухшим чемоданом и огромной сумкой вышел он из вагона на перрон станции Берлин-Шенефельд. В ответ на пароль «Аэропорт» ему указали на что-то метрах в двухстах, куда он, проклиная свои не вовремя проснувшиеся инстинкты барахольщика, в угоду которым набил чемодан и сумку всякой всячиной, вскоре и добрался.

Домой он улетал из Домодедово. В ожидании вылета сидел он на жесткой металлической скамейке и с безысходной тоской внимал, как с небольшого телевизионного экрана из-под потолка душного темноватого зала Михаил Сергеевич Горбачев произносит ожидаемые, но страшные слова о конце существования страны, в которой он родился и жил, в которой родились и жили его родители и дети. Была – и нет. И всё это: озабоченные таможенники в Шереметьево и роскошная куртка в берлинском бутике, поезд в двенадцать-тридцать девять и алкоголист с пятидесятиграммовой чаркой в уютной пивной, радиатор отопления с регулятором температуры в гостевой квартире студенческого общежития и приветливые рождественские огоньки в чужих окнах, добродушный южногерманский селянин-винодел и Сергей-бизнесмен с его вагоном «Рояля», а теперь вот и Горбачев в аэропортовском телевизоре – всё это кричало ему: уезжай!

И он собрался. Подал в посольство Германии заявление, через два месяца получил отказ, оскорбился, ему-то казалось, что он находка для Германии, и подал

заявление на эмиграцию в Израиль, фамилия позволяла. Вокруг стали возникать какие-то люди: сотрудники Сохнута, родственники уже уехавших, просто интересующиеся. Несколько раз они с молодой женой ходили на курсы иврита, от которых осталась в памяти книжка-читалка, где на карандашном рисунке некто Ури забойно отплясывал трепака, всю радуюсь, что ему после прибытия в Израиль удалось пристроиться на жительство и работу в кибуц Гадот. Персонаж его насторожил – сам он танцевал неважно и не смог бы так даже на радостях по поводу трудоустройства в кибуце, но «принцип асфальтоукладчика» уже работал: раз задумал – доводи до конца.

## Шаг

*...Вверх по лестнице, ведущей вниз (Бел Кауфман, внучка Шолом-Алейхема)*

Ранним апрельским утром чартерный Ил-86 Ташкент-Тель-Авив приземлился в Бен Гурионе. Накануне поздним вечером в низком мрачном здании ташкентского аэропорта они шли на посадку в самолет. Последнее, что запомнилось – прощальный взмах руки печального седого отца и ненавидящий взгляд таможенника-узбека, который брезгливо пошевелил пальцем связку дешевых вилок в углу разворошенного чемодана и махнул рукой: проходи.

Был предрассветный час. На улице было очень тепло и влажно, легкие куртки сразу пришлось снять. К обычным аэродромным запахам примешивался чуть уловимый аромат чего-то экзотического – то ли пальм, то ли эвкалиптов. Над длинным зданием аэропорта на фоне темно-синего начинающего светлеть неба он увидел обвисшие чужие бело-голубые флаги. Стало не по себе. Честно говоря, он испугался. Окончательно не по себе стало, когда после долгих процедур в светлом прохладном зале, получив документы и подъемные, они вышли из здания аэропорта и ступили на привокзальный асфальт – обетованную землю. Стоял тяжелый зной, полуденное солнце висело где-то близко к зениту – он заметил, что тень от его головы движется в коротком полушаге от правого ботинка. Он машинально несколько раз попробовал наступить на тень, но она ускользала, по-видимому, мешали тяжелые неудобные чемоданы и рюкзаки со свернутыми в скатки спальными мешками и одеялами, которые выглядели совсем не к месту. Не видел он ещё здешних зим! Блестящие, будто пластмассовые, листья пальм и огромных, высотой в трехэтажный дом, фикусов замерли, бегущая строка над зданием напротив показывала сорок один градус. «Апрель, а что будет в июле?» - тоскливо думал он, пока они семенящим бегом преодолевали открытый участок привокзальной площади до таксомотора – выдавшего виды Пежо, заказанного для них клерком миграционной службы.

Неподалеку в ожидании автобуса стояли несколько женщин. Раньше он таких не видел: смуглые, приземистые, в смело облегающих леггинсах и бесформенных просторных трикотажных майках, сквозь прорехи которых виднелись черное бельё и складчатая плоть. Женщины курили и громко переговаривались. Он привык, что

женщины украшали собой среду обитания. Эти же явно ничего собой украшать не намеревались. «Жизнь кончена, - обреченно подумал он, - Чужие флаги, жара, бабы эти!..»

Первые полгода было интересно. Все-таки Иерусалим, да еще рядом со Старым Городом. Если вечером подняться на крышу эмигрантской гостиницы, то оттуда видна эффектно подсвеченная каменная стена с Яффскими воротами. По ночам за этой стеной бывали какие-то праздники, наверно, свадьбы. Взлетали ракеты и слышны были хлопки петард. Притягивало взгляд ночное небо, совершенно черное. Свет городских огней, не видимых с середины крыши, не оставлял в нем следов – воздух здесь чистый. А звезды на небе были невероятно яркие и казались очень большими и близкими. Он любил по вечерам смотреть с крыши на город и на звезды. Да, собственно, других развлечений и не было.

Крыша гостиницы была для постояльцев смотровой вышкой и площадкой для сушки белья. Это входило в перечень услуг, включавших, кроме того, душевые кабины и просторную общую кухню, оборудованные на первом этаже. За стойкой при входе в гостиницу восседал немолодой лысый Морис, ее хозяин и главный менеджер, всегда спокойный и немногословный. Да и о чем и на каком языке было ему разговаривать с этим эмигрантским табором? На стене холла первого этажа под высоким потолком был закреплен большой цветной телевизор, знававший лучшие времена. Однажды он увидел на экране знакомое женское лицо и прислушался – шла короткая русскоязычная сводка новостей, в конце которой диктор представилась: «Марина Левинсон». И он вспомнил – Марина Бурцева, диктор центрального союзного телевидения. И эта здесь? Зачем? Марина скоро исчезла и объявилась, говорят, в Америке – обычный путь для эмигрантов с фантазией и деловой хваткой.

С бельем на крыше происходили замечательные превращения. Если дело было днем – а стирки было много, все-таки сыну только что исполнился год – то белье наполовину высыхало еще в руках, а остальное в процессе развешивания, так что иногда он за одну ходку и относил на крышу выстиранное белье, и возвращался с ним же сухим обратно. Солнце не просто пекло, оно жгло нещадно. Ночью нужно было немного подождать, и белье тоже можно было снимать готовым, очень уж сухой в Иерусалиме воздух. Правда, в темноте на крыше он регулярно натыкался на четырнадцатилетнюю дочь Аллы, соседки по этажу,

приехавшей откуда-то из России. Дочь постоянно уединялась там с местным эфиопским парнем-солдатом. Дело молодое, подростковое...

Втроем они – жена, сын в коляске и он – любили гулять в одном из двух расположенных неподалеку парков. Один примыкал к их гостинице. Там было очень много незнакомых удивительно красивых цветов, растущих и в клумбах, и на кустах с большими глянцевыми листьями. Увы, цветы почти не издавали запаха. Наверное одной их неземной красоты было достаточно для надежного продления рода, и аромат не был необходим бесчисленным насекомым-опылителям. А может, и не так, кто их тут разберет. Второй парк располагался в некотором отдалении на пологом склоне холма. Парк был безлюдным и поэтому нравился им больше. Наверху была мельница Хаима Монтефиори со смотровой площадкой, а в нижней части парка, почти примыкающей к стене Старого города, они обнаружили небольшой каменистый грот с узким лазом, огороженным ржавеющими цепями, с табличкой “Tomb of King Herod” - «Гробница царя Ирода». Выглядело это как редко посещаемый хозяйственный погреб и оставило у него странное ощущение недостоверности, похожее на то, что он чувствовал, набредая время от времени в National Geographic на сюжеты об НЛО и найденных останках инопланетян. В Иерусалиме это ощущение возникало часто.

В Израиле вообще много необычного...

Однажды в центре Иерусалима он с интересом наблюдал за идущим по противоположной стороне улицы одетым в хаки худым бородачом в черной кипе. За спиной у того висел громадный солдатский рюкзак, к которому был приторочен длинный черный зонт с ручкой крючком. Там же болтался потертый армейский карабин – атрибут жителя поселения за «зеленой чертой». В одной руке у бородача был букет цветов и большая полукруглая сумка, из которой выглядывали какие-то кульки и пакеты, другой он вез большой грязноватый чемодан на колесиках, к ручке чемодана был пристегнут длинный поводок, на другом конце которого суетился рыжий мопс. Намерения бородача и мопса не совпадали: первый шел прямо, мопс метался, обнюхивал всё справа и слева, нервничал и мешал бородачу. Тот время от времени оборачивался и прикрикивал: «Боинэ!». Как выяснилось через полгода, «боинэ» было не именем мопса, а «иди ко мне». Всё это поочередно исчезло за поворотом узкого переулочка, а мопс успел обернуться к нему и нехорошо тявкнуть.



Холодным дождливым осенним днем, уже в Хайфе, его внимание привлек парень на мотороллере. Седок был в светлых шортах, пляжных сланцах, майке и, разумеется, шлеме с забралом. Поверх майки на нем было надето длинное суконного вида черное пальто. Пальто было полностью расстегнуто и лихо развевалось за спиной седока – куда там бурке Чапая или Кочубея!

Первое время его смущал дресс-код израильтян: шорты или джинсы – это если предстоит деловая встреча, майка или простенькая сорочка навыпуск, сандалии на босу ногу, кеды или кроссовки. В общем, то, что привело его в уныние в день прилета в аэропорту, теперь окружало его в жизни.

А год спустя он как-то даже не сразу и воспринял вскользь брошенное коллегой, бывшим московским профессором, шутливое замечание, мол, не слишком ли по-молодежному он одевается на работу? Он оглядел себя в зеркале лифта учебного корпуса: свежестырированные шорты с множеством карманов. Неглаженные. Так кто же их здесь гладит? Длинная черная баскетбольная майка навыпуск с какой-то мелкой надписью на груди – он всё собирался её прочитать и перевести да забывал, а надо бы, скоро выцветет совсем. Бейсболка козырьком назад с эмблемой NY, плетеные пляжные сандалеты на босу ногу... А что? Удобно. И не белая ворона, а как все. Иногда, правда, так хотелось застегнуть запонки на белоснежных хрустящих манжетах, привычным жестом поправить узел на дорогом шелковом галстуке... Увы. Но листая как-то подшивки местного студенческого журнала двадцатипятилетней давности, которые пылились на дальней полке в лаборатории, он обнаружил там трогательно знакомые фотоснимки: молодые люди в тесных отутюженных расклешенных книзу брюках, приталенных пиджаках «принцесса» с выпущенными наружу длинными воротниками сорочек... Совсем как он четверть века назад. Он даже невольно поискал себя на фото. Не нашел.

Годами позже, вернувшись в поисках работы в такой далекий теперь родной город у подножия заснеженных гор и обустроившись там, он какое-то время чувствовал на себе взгляды коллег, косящихся украдкой на его вполне приличные джинсы и просторный свитер. Конечно, он быстро сориентировался, купил дорогой костюм, несколько фирменных сорочек и галстуков, две пары штиблет от Мореша, сходил в модный парикмахерский салон... и вдруг стал невидимкой, растворился в толпе таких же, как он.

Язык – это средство общения и познания мира, способ предъявления миру себя самого. Первые полгода в эмиграции – это язык. Они с женой пошли учиться в разные ульпаны, языковые школы, чтобы попеременно быть с сыном. Каждый постигает язык по-своему. Общее в здешних школах – это почти всегда преподаватель, не говорящий по-русски. Иврит и всё. Кто-то из преподавателей говорит и по-английски, но что с того? Сначала это раздражает, потом начинаешь ощущать, что из-за невозможности получить объяснение на родном языке мобилизуются какие-то дополнительные ресурсы, включается механизм запоминания, родственной детскому «игра-слово-ассоциация-понимание-запоминание-применение». Во всяком случае, именно так он представлял себе этот механизм. Нельзя сказать, что язык давался ему легко, но он привык работать методично. Сейчас, спустя два десятка лет, он более-менее сносно говорил на иврите, несмотря на то, что последние десять лет бывал в стране только короткими наездами. Попадались, правда, целые темы, где он просто не понимал ни слова. Но ведь и в родном его языке таких тем предостаточно. Другое дело, что подсознательное сопоставление уровней владения русским и ивритом создавало внутри серьезный психологический барьер. Ну на самом деле, как ему, привычно контролирующему каждую фразу, каждое слово как при выступлении перед аудиторией, так и в простом разговоре, вдруг произнести: «Где есть верный путь в продуктовую магазин?» - после чего замереть в напряженном ожидании ответа, пригодного для понимания?..

В их группе учились несколько туристов из США. Как же легко и свободно постигали они язык! Он как-то разговорился, насколько позволил его английский, с молодым контактным американцем Джейсоном.

- «Ты сюда приехал навсегда?»

- «Почему навсегда? Четыре месяца. Туризм, экскурсии. Еврею необходимо Израиль посмотреть, особенно Иерусалим. Кстати, мне мать сказала, что её дед и бабка когда-то в Штаты из Одессы эмигрировали».

- «Так зачем ты полдня на язык тратишь, да ещё за деньги? В стране половина населения по-английски говорит».

- «А как иначе страну узнать?»

- «Ты планируешь эмигрировать?»

- «Я? Из Америки? Я не сумасшедший... Нет, конечно».

У Джейсона совершенно отсутствовали тормозящие комплексы. Он делал в каждом слове не меньше трех ошибок, хохотал, исправлял ошибки, настырно встревал в каждый разговор... Спустя три месяца Джейсон уже практически свободно изъяснялся на иврите, который ему, скорее всего, никогда в жизни больше не понадобится. Не сумасшедший же он, на самом деле.

Первые полгода после приезда их содержало государство, работать не разрешалось. Так положено. Учи язык, приобщайся, вживайся. Жена наслаждалась красотами Иерусалима, побывала на экскурсии на Мертвом море, где-то ещё. Ей всё было интересно. А он не мог. Его с самого начала терзала тревога: а что потом?! Сорок четыре года прожито, рядом молодая жена, не пробовавшая самостоятельной жизни, годовалый младенец на руках. Да еще родословная его, сомнительная с точки зрения аборигенов и особенно с точки зрения вновь приехавших, таких же, как он, только чистокровных.

Какое-то время он с интересом наблюдал за Леонидом, нормальным семейным мужиком лет на десять моложе него, который после некоторых колебаний навел последний штрих на свое и без того правильное естество – подвергся бесплатному ритуальному обрезанию. Несколько дней после этого Леонид ходил неуклюже, как землемерный циркуль, поглядывал с вызовом вокруг и печалью на совершённое. Иногда в глазах его был виден немой вопрос: «Я-таки прав?» Прав, Лёня, прав. Тебе проще: отрезал то, что не стали когда-то отрезать осторожные папа с мамой – и всё, узаконился.

Месяца через четыре после приезда его пригласил на разговор бывший московский профессор. Фамилию он не запомнил, а разговор и встреча были занимательные.

- «Я посмотрел ваше резюме. Это как раз то, что нам нужно. У меня здесь несколько проектов в разработке, на один мне нужен научный руководитель. Вы согласны?»

- «Что за проект?»

- «А какая разница? Что-то с теплообменом связано. Я в этом не разбираюсь. Завтра едем в Газу, познакомлю».

- «Куда?» - про Сектор Газа он слышал ещё дома, при жизни. Ничего хорошего это не сулило.

- «В Газу. Осваиваем территорию. А что, страшно? Да всё в порядке там, не волнуйтесь».

- «Не волнуюсь. Едем».

От Иерусалима до Газы рукой подать. Неказистый пикапчик Рено, в котором, слава богу, исправно работал кондиционер, домчал их минут за сорок. Пересекали ли они какую-нибудь обозначенную границу, он уже не помнил. Вроде какой-то шлагбаум все-таки был.

Сектор Газа – это песчаная полоса длиной километров пятьдесят вдоль юго-восточного побережья Средиземного моря и шириной от шести до десяти километров. С севера и востока Сектор граничит с Израилем, с юго-запада короткой стороной примыкает к Египту. В Газе тогда было несколько охраняемых израильских поселений, жители которых занимались главным образом высокотехнологичным сельским хозяйством. Время от времени их обстреливали соседи.

Они ехали по территории Сектора. Вокруг не было ни души. Далеко-далеко впереди чуть подрагивало в жарком мареве удивительно синее море, очерченное желтой береговой полосой с несколькими крохотными одинокими пальмами на песке. Вспомнился Чуковский: «Не ходите, дети, в Африку гулять». Не послушался... Проехали мимо палестинской деревни. Пугающе глядели пустые окна серых бетонных многоэтажных домов, хаотично воткнутых в песок вплотную друг к другу. В коротком разрыве между домами промелькнул минарет с маковкой и полумесяцем на ней. Ни души, ни деревца, ни травинки. И над всем этим белесо-синее небо и раскаленное добела солнце. Жуть.

Пустынное узкое асфальтированное шоссе, проложенное между невысокими песчаными холмиками, поросшими, как лишаями, редкой серо-зеленой колючей травой, вывело их к блокпосту – двум тяжелым бетонным фундаментным плитам, зигзагом перегораживающим дорогу справа и слева. Не видно было никакой охраны, никаких часовых, только асфальт и бетон. В одно время с ними с противоположной стороны подъехал древний Мерседес с палестинскими номерами, в нем были пять или шесть усатых мужчин в клетчатых арафатках. Мерседес остановился у поста, из окна выглянул водитель и показал им рукой: проезжайте. На душе стало нехорошо. И тут он увидел, как по обе стороны шоссе из-за невысоких холмиков-дюн появились и направились в их сторону узнаваемые

стволы израильских штурмовых винтовок, по два ствола с каждой стороны. Армия не дремала.

- «А не проще ли было дома кризис переждать?» - подумалось ему. Быстрыми видениями промелькнули перед глазами отрекающийся Горбачев в Домодедово, новенький Мерседес студента-троечника рядом с его заслуженной «копейкой» на институтской стоянке, тяжелая парашютная сумка, набитая пачками пятирублевок, ненавидящий взгляд ташкентского таможенника... - «Или пусть уж лучше здесь пристрелят?..»

Поселение, в которое они въехали, было окольцовано несколькими рядами колючей проволоки с двумя воротами в противоположных сторонах ограды. Там жили религиозные евреи – эмигранты из США и сменный вооруженный армейский наряд. Внутри было десятка три аккуратных домиков-коттеджей с ухоженными деревцами и палисадниками, одноэтажные служебные и производственные здания, синагога, рядом несколько больших теплиц, в которых жители поселения разводили цветы, огурцы и помидоры. Его поразили томатные кусты высотой метра в три, каждая ветка которых была подвязана к каркасу теплицы. И в этом была необходимость: хоть кое-где на кустах проглядывали, конечно же, зеленые листочки, но основной их цвет был красным от висящих один к одному спелых помидоров – по полтора-два центнера на каждом, как объяснила ему доброжелательная, сплошь усеянная крупными веснушками, миниатюрная рыжая женщина – пресс-секретарь поселения.

Профессор представил его какому-то начальнику – невысокому худощавому мужчине лет сорока. Выражение его лица невозможно было разобрать из-за густой черной растительности, покрывавшей все свободное пространство от черной бархатной кипы до пуговиц светлой рубашки навыпуск, но глаза сквозь сильные линзы круглых очков смотрели пристально и, как ему показалось, неприветливо. Мужчина прочитал резюме, удовлетворенно кивнул головой, потом попросил удостоверение личности, заглянул в него и вернул. Что-то там его насторожило. Они перекинулись несколькими фразами на иврите с профессором, тот попросил его подождать снаружи, пока они посоветуются.

Вышел профессор: «У Вас проблема».

- «?»

- «У вас в пункте «национальность» что написано? Правильно, «не идентифицирована». А это нехорошо, особенно здесь. Что стоит вам пройти гиюр и стать-таки евреем? Вот, - он приподнял за краешек свою крохотную вязаную кипу, зацепленную скрепкой за пучок седоватых волос, окаймляющих небольшую плешь, - и никаких вопросов, и лысину от солнца прикрывает». Ему вспомнился директор НИИ: «Все-таки, в нашей республике живешь...» Да уж, ехали мы, ехали... и приехали.

- «Обойдусь. Нет у меня лысины».

- «Жаль. Лучше бы была». Профессор довез его до гостиницы и уехал прочь.

В стране, где национальный состав структурирован, как этажерка: еврей, араб, уникальный нееврей - национальность это судьба. Как каста в Индии. Умом-то он понимал: враждебное окружение, национальная самоидентификация как средство выжить и победить... Но это не утешало, клеймо «Сорт Б» было для него непривычным. Ему-то что делать на этой этажерке? Куда карабкаться и какой ценой? Рассчитывать на жену тоже не приходится, здесь и вовсе русско-украинские корни, славянская внешность и интернациональная советская ментальность: все люди – братья да миру-мир. Как, впрочем, и у него. Как-то всё это скажется на сыне?..

Чтобы чуть-чуть подработать, он «по-черному» пристроился в пекарню: два-три раза в неделю по десять-двенадцать часов в ночную смену. За раз выходило двадцать-двадцать пять долларов.

...На уровне живота движется широкая лента конвейера. По бокам вдоль нее стоят люди. По ленте плывут колбаски из теста, которые выдавливает и нарезает специальная машина. Если взять три колбаски и ловким движением сплести их в косичку, то получится хала. Ловкое движение он освоил очень быстро – у конвейера прохаживался звероподобный сменный начальник Моше и присматривался к каждому работнику. Если что-то было не так, то Моше показывал на лужера пальцем и произносил: «Лех абайта», - что означало конец карьеры халоплета, по крайней мере, на сегодня: «Проваливай домой». Если кто-то работал с недогрузкой, скажем, не всем перепало тесто с ленты для непрерывной работы, то его перебрасывали на другой участок, или же Моше увеличивал скорость конвейера. Время от времени начальник указывал пальцем на кого-нибудь: «Лех лезхоль», - и нужно было мчаться в соседнее помещение, мыть руки

и быстро-быстро – на перерыв отпускалось всего двадцать четыре минуты – съесть принесенный с собой бутерброд с маргарином и яйцом и помидор, другого он не мог себе позволить. Здесь он начал понимать и непроизвольно взлелеивать в себе ненависть пролетария к буржую-мироеду.

Отрадой и даже немного праздником стал замечательный случай: два невысоких стройных брата-грузина прилично отделали начальника – тот позволил себе грубо наорать на невзрачного немолодого человека, который, на беду, оказался отцом братьев. Должно было случиться страшное: суд, тюрьма, долгая разлука братьев с родными и близкими, депортация и прочие несчастья, которыми их крепко-накрепко напугали на уроках по социальной адаптации и предупредили: «Вам здесь не Советский Союз. Ударил человека – тюрьма». То ли братья не посещали эти уроки, то ли проигнорировали предупреждение – неизвестно. К общему удивлению в следующую ночную смену страшный Моше был чрезвычайно приветлив с молчаливым грузинским семейством.

По ночам в пекарне работали в основном такие же, как он, начинающие эмигранты, студенты и арабы. Все они были намного моложе и смотрели на него с интересом: что делает здесь этот далеко не юный профессор, как они его называли. Как-то раз в ночь вышел поработать один местный бородач, видимо, не от хорошей жизни. Он достоял у конвейера до полуночи, потом бросил всё и быстро ушел, даже не отметившись в регистраторе.

- «Кошмар, - перевела на русский его прощальные слова студентка, стоявшая рядом у конвейера, - и два фака и шит, если вам понятно, что это».

Он приноровился работать очень быстро и качественно. Асфальтоукладчик, что возьмешь. Жена говорила, что когда он возвращался в гостиницу утром и устраивался спать, то во сне его руки продолжали плести и плести халы. С той поры он их не ел.

А через полгода его пригласили на работу в Технион, политехнический институт, и они перебрались в Хайфу, большой портовый город на севере страны, Красную Хайфу, как с незлой усмешкой окрестили её многочисленные эмигранты из Союза, плотно оккупировавшие город и окрестности.

Из выходящего на север окна его квартиры, если посмотреть вдаль, поверх труб и градирен нефтеперегонного завода, в ясную погоду хорошо видна длинная невысокая гряда холмов, протянувшаяся на полгоризонта с востока на запад и

обрывающаяся на северо-западе в синюю гладь Средиземного моря. Море занимает оставшиеся полгоризонта. За холмами Ливан, до него километров сорок. Подлетное время тактической ракеты «земля-земля» - около полутора минут, но все уверены, что с линии границы наши стрелять не позволят, и в случае чего на бонус секунд в пять-десять можно рассчитывать.

Хайфа – это, конечно, не Иерусалим. Оно и к лучшему. В Иерусалиме по субботам всё вымирает, отключают даже телевидение, а живущие обособленно иудеи-ортодоксы – всегда в черных лапсердаках, черных брюках навыпуск или заправленных в белые гольфы, в черных кипах и надетых поверх них черных шляпах, со свисающими из-под шляп завитыми пейсами – перегораживают въезды-выезды своих кварталов цепями, чтобы транспорт, спаси и охрани, не нарушил святость субботы. Сначала это воспринимается как проявление благочестия и хочется заставить себя уважать это благочестие. Потом надоедает. Следующим усилием воли убеждаешь себя относиться к этому снисходительно, как к чудачеству, но снисхождения хватает ненадолго, да и чудачки эти взрослые, многочисленны и достаточно агрессивны, можно и камнем в лобовое стекло получить. Остается обходить стороной и не обращать внимания. Чужая жизнь... При встрече с ними ему почему-то всегда приходил на ум Алексей Толстой: «...Нектарий со зла сел в яму молчальником, сидел молча два года. Когда к яме, прикрытой жердями и дерном, кто-либо подходил – старец кидал в него калом...»

Это не Иерусалим ещё и потому, что в Хайфе всегда влажно. Когда летом в шесть утра солнце быстро поднимается из-за холмов со стороны сирийской границы, первое, что бросается в глаза непривычному человеку – это седые от обильной росы автомашины, припаркованные одна к одной вдоль обочин дорог и улиц. Влага собирается в крупные капли и стекает по стеклам, оставляя на затуманенной поверхности неровные прозрачные дорожки. В сочетании с температурой под тридцать это впечатляет. Белье после стирки сохнет здесь несколько дней – это тебе не крыша иерусалимского отеля «Президент». Выручает центробежная сушилка Электра, после которой днем можно вывесить белье под прямые солнечные лучи, солнце-то такое же горячее, как и в Иерусалиме, важно лишь не забыть снять его, когда наползет влажная вечерняя тень, иначе сушка насмарку.



А вот что роднит Иерусалим и Хайфу – это промозглый холод в квартире поздней осенью и зимой. Привычного с детства центрального отопления здесь нет. Разумеется, если ты человек зажиточный, то электрообогрев не проблема. А если нет, то эта роскошь – а это-таки роскошь – увы, не всем по карману. Как, кстати, и кондиционер летом. Зимой температура в помещении устанавливается около среднесуточной забортной температуры, так что с ноября по март все жильцы одеваются и обуваются потеплее. Хорошее подспорье в борьбе с холодом – толстый кот на коленях, животных здесь любят. Первый и последний этажи ближе других к природе: теплоизоляция зданий в этих краях – это фантом. Монолитный железобетон или силикатный строительный блок, из чего большей частью построены дома, в теплоизоляции участвуют мало. Двенадцать на улице – четырнадцать в квартире. Выше нуля, разумеется.

Вчера он услышал по радио: «Под утро в Иерусалиме впервые за последние шесть лет выпал снег. Температура воздуха плюс два. Движение транспорта затруднено. На уборку снега брошена вся сельскохозяйственная техника. Власти просят население не покидать дома без особой необходимости. Прекращены занятия в школах»... Он вспомнил чернильницы-непроливашки, выставленные на широкий белый подоконник поближе к заиндевелому стеклу, чтобы чернила в них замерзли и учительница отменила занятия и распустила их по домам, несмотря на то, что на улице всего лишь минус двадцать восемь, а не законные для чернильниц тридцать, и невольно улыбнулся.

Зато как хорошо компенсируется зимний холод в квартире летним теплом: тридцать пять на улице – тридцать два в квартире!.. – Он мечтательно прикрыл глаза, подоткнул со всех сторон одеяло, набранное из четырех тонких синтепоновых китайских одеял, натянул на глаза капюшон старого байкового спортивного балахона, который он использовал в качестве постельной пижамы, и включил радионаушники. Сегодня, кажется Шопен. Ну и ладушки. Ещё один день закончен.

Да, ещё здешние дожди... Из-за ближайшего холма вдруг появляется серый край тучи, которая удивительно быстро покрывает большую часть синего неба. Оказывается, туча не серая, а черная, а серый край ее – это последняя попытка солнца напомнить о себе. Тщетно. Другую часть неба быстро закрывают такие же черные тучи, набежавшие из-за горизонта со всех сторон. Всё. Только что было

тепло и даже жарко под лучами солнца – в солнечный декабрьский день здесь тепло, как в июне на родине – и сразу стало холодно. Зима все-таки. Но не это главное. Тучи пришли не просто так. Вот на асфальт упали первые крупные капли. Прячься! Через секунду отдельные капли объединяются в видимые и осязаемые струи, которые тут же сливаются в мощный поток воды, и остановить его не может ничто. Зонты, непромокаемая обувь, водоотталкивающие плащи и прочие пустяки здесь совершенно бесполезны. Вода по немыслимым траекториям проникает всюду. По асфальту текут реки высотой в десять-пятнадцать сантиметров, кажется, что может и смыть. Эти реки переливаются через бордюры и тротуары и разливаются дальше по пустырям, газонам и клумбам – где что есть – и уносят мусор, почву, мелкую мебель, брошенную возле мусорных контейнеров, и всякое другое, что по недомии или преднамеренно оставлено на их пути.

На юге в пустынной части страны эти потоки, бывает, размывают асфальтированные дороги и сносят автомобили в образовавшиеся промоины. Бывают и жертвы. Спасение от зимних дождей – это сидеть в конторе или дома и вытирать тряпкой воду, набежавшую отовсюду, где есть хоть маленькие щели для её проникновения. А лучший способ – находиться за тысячи километров отсюда или хотя бы в кресле авиалайнера, летящего неважно куда в чистом темно-синем солнечном небе.

Как же не похожи они на те долгие монотонные северные дожди, которые – только оденься потеплее, завернись с головой в чуть пахнущую резиной отцовскую плащ-накидку и надень на теплые шерстяные носки высокие резиновые сапоги – ничуть не мешали целый день бродить по лесу и находить грибы с блестящими от воды коричневыми шляпками или прячущуюся под мокрыми листьями розово-красную бруснику, просто дышать запахом мокрого мха, хвои и прелых прошлогодних листьев, запахом детства.

И совсем уж не похожи они на короткие летние дожди в тихом городке на Оке, где так здорово было побродить босиком по теплым лужам: между маленькими розовыми пальцами снизу вверх выдавливается мягкая грязь, которую и грязью-то назвать нельзя, такая она добрая и нежная, а попадающиеся иногда колбаски утиного помета легко смыть водой из той же лужи... Детство, детство, детство...

## Новая жизнь. Фрагменты

Лишкат-авода – дитя израильской бюрократии. Лишкат-авода это биржа труда. До последнего времени она делилась на просто биржу и биржу для лиц с высшим образованием. Основная клиентура первой – это эмигранты из Союза и Эфиопии, второй – эмигранты из Союза, поскольку в Эфиопии высшее образование не прижилось. Вероятно, из-за жары. В Израиле тоже жарко, но не как в Эфиопии, наверное поэтому потребность в высшем образовании здесь выше, чем у африканских соседей, но намного ниже, чем была в Союзе. Выпускники местных университетов находят работу быстро, а вот с дипломом, скажем, абаканского пединститута рассчитывать особенно не на что, Минобразования может вовсе не признать такое образование высшим. Тогда придется стоять в одной биржевой очереди с эфиопскими лузерами. А там нехорошо. Впрочем, как повезет. Давешний Ури на картинке из ивритского букваря не просто так отплясывал трепака, получив работу в кибуце.

Плохо, если ты – лицо при прошлых регалиях, кандидат или доктор, профессор или, не дай бог, малопонятный доцент. Тут, правда, если есть фарт, можно пристроится на «шапиру» - стипендию Шапиро при одном из нескольких университетов - и заниматься небольшой научной работой под руководством средней руки профессора из местных. Первый год ты радуешься жизни: знакомая среда, хорошая или очень хорошая лаборатория, классная аппаратура, как обыденность – деловая переписка твоего куратора с мировыми знаменитостями... Немного огорчают две вещи: слабое знание языка, как иврита, так и английского, уж который-то, как тебе казалось, ты знаешь о-го-го как, ну и нищенская стипендия, которой едва хватает на оплату съёмной квартиры да на флакон захудалой туалетной воды жене на день восьмого марта.

Он сидел на скамейке рядом с биржей труда. Ждал своей очереди. Номерок к своему клерку (клерике, только как это произнести?) он получил полчаса назад у охранника на входе. Теперь ждал. Процедура стандартная, еженедельная. Можно ждать и внутри. Там работают кондиционеры, довольно просторно, иногда есть свободные места посидеть, а порядковый номер высвечивается на табло. Но сегодня нежарко, несмотря на август, а на улице нет зудящего разноязыкого гомона. Второй день не складываются стихи. То рифма не в смысл, то смысл не в рифму...

Кстати, восьмое марта, как выяснилось, здесь никто не празднует. А вот интересно, почему? Может, зачинщицы были сомнительной национальности? Вроде как правильной. В таком случае праздник уместен. Возможно, отношение к празднику еще не сформировалось. Страна молодая, проблем хватает. А праздники по большей части перекачовали напрямую из Завета и вполне себе гуляют, правда, без пьянки и ритуального мордобоя. А может, здесь феминизм не прижился?

Честно говоря, ему с детства тоже не очень нравились Клара Цеткин и Роза Люксембург. Первая представлялась ему немолодой сварливой женщиной в темной кофте и длинной бесформенной юбке, из-под которой выглядывали тонкие в икрах ноги в тёмно-коричневых хлопчатобумажных чулках и больших черных полуботинках без каблучков. Позже этот образ воплотился в старушке Шапокляк из кукольного мультфильма. Роза на слух была попривлекательнее. Правда, была у него двоюродная или троюродная сестра Роза, которую он видел всего один раз в жизни: ему было семь, а ей пять или шесть. Естественно, он её совсем не помнил. Но на старой фотографии она была очень упитанной девочкой, а это его раздражало. И фамилия Люксембург звучала красиво. Даже страна такая есть. Фамилия перестала нравиться, когда судьба свела его с одним израильским адвокатом с такой фамилией. Но это другая история.

Годами позже он с неприятным чувством следил за тем, как немолодой subtilный человек с затравленным взглядом пытается вывернуться в суде из-под гнета дамских обвинений в нехороших домогательствах, как этот человек на глазах превращается из президента страны в простого обвиняемого, а потом и зека. Он подумал, что вряд ли Роза и Клара рассчитывали на такое развитие событий. Хотя кто их знает. Чужая, да ещё женская, душа – потемки.

На улице возле биржи тоже было людно. Стояли, прислонившись к стене, курили. Сидели на двух установленных спинка к спинке скамейках и каких-то декоративных гипсовых валунах. За спиной негромко разговаривали двое, слов он не слышал и они ему не мешали.

Второй год «шапиры» обычно течет спокойно. Что-то монтируешь, что-то испытываешь и анализируешь, споро пишешь статьи и отчеты за авторством своего профессора-куратора, иногда ещё кого-нибудь, ну и своим, разумеется. Правда, начинает немного тревожить перспектива: стипендия рассчитана на три года, а

потом куратор содержать тебя вряд ли сможет. Не так он велик, чтобы иметь серьезный и хорошо финансируемый научный проект. Его куратор был педантичным, интеллигентным и хорошо образованным человеком, хотя и чувствовался у него потолок, за который он не заглядывал. Это наверняка было связано и с тем, что очень молодой профессор вырос в Москве, эмигрировал хоть и давно, но уже сложившимся специалистом, а израильский ученый мир – это даже не московский террариум, это очень узкий, как всё здесь, круг, чужих сюда не пускают. С северо-востока, по крайней мере. Впрочем, он навсегда остался глубоко признателен Якову за человеческую теплоту, за отсутствие второго дна в их отношениях, за предоставленную возможность выжить в конце концов. И за то, что тот не обещал ничего невыполнимого. Что мог, тем помог. Светлая и добрая ему память.

Работал он, как привык. Полностью погрузился в дело, в материальном смысле удовлетворился тем, что есть, наслаждался работой и за отпущенное «шапирой» время выполнил четыре небольших проекта там, где другие делают один, максимум - два. Асфальтоукладчик. Другие, правда, к окончанию срока стипендии находили себе постоянную работу, нового куратора, стипендию следующего уровня – «Гилады» или «Камень», подготовили посадочную площадку в Америке или Канаде, наконец.

Короче говоря, прямая и светлая, как больничный коридор, дорога в конце концов привела его на биржу труда. Не то чтобы там очень нуждались в немолодом ученом, но таковы правила: нужно еженедельно ходить на биржу и отмечаться. Предполагается, что ты соглашаешься на любую работу, если, разумеется, она есть в этот день. Предложить ученому с биографией наряд на уборку бананов, конечно, могут. Но скорее всего не предложат. И не из человечности. Просто есть опасность, что какой-нибудь дотошный журналист, а они в Израиле все дотошные, как трехлетние карапузы, раскопает этот факт и порадует публику: «Нынешнее правительство не способно!.. Доколе же!..» Проще поставить птичку в ведомости и: «До следующей недели, господин». Господин – это он.

Подводя итоги своей трудовой деятельности в ожидании встречи с биржей труда, он обнаружил, что прилично разросшийся за последние три года список его научных публикаций состоит из девяноста девяти наименований. Он не любил

незавершенности. Сто – это порядок. Девяносто девять – это хаос. Пару лет назад он начал писать стихи. Эмиграция к этому располагает. Несколько стихотворений были уже написаны, но когда удавалось следующее и он пристраивал его последним в стопку уже написанных стихотворений, то после раздумья выбрасывал из этой стопки первое. Так что количество их последнее время не росло. Но он верил, что получится. Он и название сборнику уже придумал – Эмиграммы. Сотый в списке. Оставалось только написать. И он писал.

«Несостоявшийся союз, не наступивший юбилей...» - с женой у них с самого начала всё было нервно. Здесь обострилось. Эмиграция к этому располагает. Дома было тяжело: маленький сын, семидесятилетние родители, которые приехали вслед за ними в расчете помочь и поддержать – позже он не мог себе простить, что допустил их приезд, а тогда просто еще не понимал, что он наделал. Жена... Как всякая молодая женщина, она требовала внимания. Он же сосредоточился на себе: «Нужно что-то делать, нужно что-то делать...» Это «что-то» не имело конкретных очертаний и больше походило на набор орудий для деятельности – метла, компьютер, кувалда, кастет, намыленная бечева – в случайной последовательности в зависимости от текущего состояния души. Молодая жена понемногу впадала в депрессию.

«...Средь череды обид и дат – ещё одна, не так уж много»... Нет, не складывается.

Он посмотрел в сторону входной двери биржи. Мужчина, который был в очереди за пару человек перед ним, стоял и курил. Двое за спиной продолжали негромко разговаривать. Он прислушался.

- «...Ось-ось. Суворий мужик. Вин и мени трояк вкотив ни за що ни про що. Ми ж дурили», - говорил высокий ровный баритон.

Ему привиделся вислоусый Владимир Мулявин.

- «Знайшов з ким дурити. Козел вин», - произнес второй низким хриловатым голосом.

Подумалось: «Тарас Бульба», другие персонажи не приходили в голову.

- «Погана людина, - немного подождав, пояснил низкий голос, - якби не вин, у мене червоний диплом був».

- «А навищо вин тобі, ти ж, все одно, до дому не поихав?»

- «Та я поихав, тильки там небезпечно дуже, ти ж знаеш. Я и виихав».

- «Далеко?»

- «У Дурбан, там на залізници працював. Добре було».

Он мало что понял из неторопливой мовы, диковато звучащей у входа в хайфскую биржу труда, но догадался, что повстречались, видимо, бывшие однокашники и обсуждают своё, понятное только им. Что-то в голосе «Бульбы» показалось ему необычным, но тут он увидел, что куривший у двери очередник загасил сигарету, бросил её в урну и зашел внутрь. Пора.

- «А в Израиловку чого занесло?»

Он встал и оглянулся на спросившего. Тот, действительно, был похож на Мулявина, особенно роскошными вислыми усами. А второй... От удивления он замер. Второй точно не был похож на Тараса Бульбу, скорее уж на Патриси Лумумбу. Это был худощавый круглоголовый негр с аккуратной эспаньолкой и невеселыми глазами за большими круглыми очками.

- «А що нас всіх сюди занесло? Перекантуємся, дали видно буде, - тот поправил на курчавой макушке вязаную кипу, - поки, брат, черга підходити».

## Проблемы разрешимые и неразрешимые

Тем временем подрастал маленький сын. До пяти лет мальчик был дома. Сначала с ними. В основном, понятно, с женой, он-то работал. Потом вдруг собрались и прилетели на ПМЖ его родители. Как же он не отговорил их?!. Конечно он слышал разговоры о деструктивной силе эмиграции. Конечно он читал и видел по ящику информацию о самоубийствах приехавших и разочаровавшихся. Но ему все ещё казалось тогда: ещё чуть-чуть – и он встанет на ноги и неудержимо двинет вперед так, как это было там, на родине, при жизни.

Сын был, пожалуй, основной причиной их отъезда. Ребенок родился слабым, болезненным, плохо рос, плохо ел. Когда он брал на руки худенькое тельце, завернутое в пеленку и тонкое бело-зеленое шерстяное одеяло, у него слезы наворачивались на глаза. Мальчик никогда не улыбался, только плакал. Однажды он, как это делают все отцы, подбросил сына, сначала чуть-чуть, а потом все выше и выше и увидел впервые, что сын заулыбался, и услышал тихие отрывистые звуки, похожие на всхлипы. Сын смеялся! Наверное это было что-то нервное, связанное с новыми ощущениями, наверное. Но сын смеялся. Значит, может. Это была такая радость!

Врачи, которые осматривали сына, озабоченно кивали головами, но ничего толкового не говорили. Потом высказали предположение – муковисцидоз. Слово он слышал впервые, но по испуганным глазам жены понял – всё плохо. Знакомая врач сказала: «Здесь не лечат. В Израиле – может быть». Что им оставалось делать?..

Вот только приезд его родителей, конечно, был ошибкой, их общей ошибкой. Да, там было тяжело: перебои с пенсией, пустые магазины, страх. Но все ведь наладилось в конце концов. Конечно, отец и мать скучали по нему, так внезапно и круто изменившему хоть и не очень спокойный, но все же упорядоченный ход жизни, скучали по внуку, маленькому и не очень здоровому мальчику. В общем, приехали. Но уж если они с женой не смогли за год хоть как-то прижиться на новом месте, что можно было сказать о двух очень немолодых людях, которые почти всю жизнь мыкались по отдаленным гарнизонам от Заполярья до Кашкадарьи и только к пенсии стали обладателями скромного собственного жилья и небольшой дачи, зажили нормальной оседлой жизнью. Здесь они поселились все вместе в



трехкомнатной съемной квартире, только это они и могли себе позволить. Вначале отец и мать поехали немного по стране, походили по Хайфе и окрестностям, потом затосковали. Отец, старый солдат, как-то ещё держался, а мать потерялась совсем. Она ничего не говорила, но по всему чувствовалось, что она перестала воспринимать действительность. Да и понятно: чужая страна, чужие люди, чужие разговоры на чужом языке. Он и сам спустя двадцать лет ощущал то же самое. Но он-то хоть язык понимал. Хотя, кому он нужен, тот язык, если не с кем разговаривать. И только маленький внук скрашивал и делал осмысленной жизнь его стариков.

Еще в Иерусалиме, в их первые дни в Израиле, они пошли с сыном в местную поликлинику. Там предъявили берегаемую ими как драгоценность медицинскую карту сына. Последующие события запомнились ему примерно так.

- «Что у мальчика?» - спросил врач по-русски.

- «Высокое внутричерепное давление и, говорят, муковисцидоз».

- «Давление – понял. Что ещё, как вы сказали?»

Жена объяснила, что узнала про болезнь от врачей и из справочников.

- «Проверим. Вот направления в лабораторию и МРТ».

- «Это что?»

- «Там написано, когда и куда идти. Будьте здоровы».

Впервые в жизни они увидели томограф. Видели в кино, конечно, в общих чертах представляли себе принцип действия, но чтобы вот так запросто... Дома такой техники ещё не было. Обездвиженного наркозом крохотного годовалого мальчика уложили в маленькую кювету, и он поплыл внутрь огромного белого кольца, а они стояли в оцепенении и смотрели и верили, что уж здесь-то разберутся со всеми проблемами.

- «Давление немного выше нормы. Пройдет. Обычное дело. С желудком есть небольшие проблемы. Не давайте молока, сладкого. Диету вам напишут. Тоже ничего страшного. Пройдет».

- «А муковисцидоз?»

- «Говорю, всё в порядке. Соблюдайте диету. Мальчик здоров: две руки, две ноги, голова... Что ещё? Будьте здоровы».

От врача они вышли окрыленными. Немного озадачило, конечно, отсутствие белых халатов, накрахмаленных шапочек, стетоскопов через шею и, как им показалось, безучастие врачей. Никаких: «Ух, какой замечательный мальчик! А как нас зовут?!.» С этим пришлось столкнуться и в дальнейшем. Его такой подход вполне устроил. Если тебе предстоит умереть в ближайшие полгода, об этом сразу сообщат, чтобы ты успел проинформировать родственников и завершить свои земные дела.

А сын чудесным образом стал приходить в норму – тьфу-тьфу: он быстро окреп, округлились щечки... Лекарства, диета, просто хорошие продукты?.. Наверное всё вместе. В четыре года это был уже крепкий, подвижный и толковый мальчик.

До пяти лет сын был дома. Можно было, конечно, отдать его в детский сад, но до пяти детсады платные, а это накладно. Зато у сына появился родной язык – русский. Есть такая проблема у эмигрантов: их маленькие дети, находясь в местной языковой среде, теряют материнский язык и, как одно из следствий, теряют контакт с родителями.

Однажды он случайно услышал в утреннем автобусе обрывок разговора молодой мамы с сыном, русоволосым мальчиком лет пяти. Они сидели позади него:

- ... «Но он в меня песком бросал на площадке».
- «А ты?»
- «Я в него тоже стал бросать»
- «А он?»
- «Он в меня камешком бросил».
- «А ты что? Почему воспитательнице не пожаловался?»
- «Я его ударил, а потом Батье сказал».
- «А что Батя сказала?»
- «Она нас обоих поругала».

Обычный разговор мамы с сыном. Обычный, если не считать того, что мама говорила по-русски, а сын отвечал на иврите.

Как-то он возвращался с работы домой. Позвонил в дверь. Там завозились, потом медленно повернулся ключ – один оборот, другой... В дверях, загораживая собой вход, стоял четырехлетний сын. Сын смотрел на него сердитыми глазами и, торопясь, дожевывал что-то очень большое. Щеки, нос, шея и майка сына были обильно перепачканы шоколадом. Они для порядка всё ещё выдерживали диету и сладкое ребенку было запрещено. А дед любил угоститься конфетой-другой с чаем, покупал их время от времени и, конечно, прятал от внука где-то в шкафу под стопкой белья. Какие инстинкты пробудились в мальчике, кто знает? Раньше он конфет не пробовал. Наверно кто-то из приятелей на детской площадке подсказал, детский русский язык там был в ходу.

Он смотрел на застигнутого врасплох сына и настраивал строгие ноты в голосе, хотя его душил смех. Очень уж комично все выглядело. Тем временем, сын дожевал и проглотил наконец конфету или две – сколько там он затолкал в рот – глаза его стали еще строже, и не пуская его в квартиру, сердитым детским басом закричал: «Замолчи на меня! Сейчас же замолчи на меня!»

Сил сдерживаться уже не было, он расхохотался, прижал к себе вырывающегося мальчика и как мог успокоил его. Предстояло ещё разобраться с неосторожным дедом.

В пять лет сын пошел в сад – это в Израиле уже обязательно, а раз обязательно, то бесплатно. Так детей адаптируют к обществу. Они волновались, как пойдут дела с языком. Волновались зря.

А потом пришла настоящая беда. Его старенькая мать с пятилетним внуком попали под машину на пешеходном переходе.

...Он выглянул из окна своей неуютной квартиры на четвертом этаже пятиэтажного дома, нависающего над нешироким, как всё в этой стране, проспектом. Прямо под окном улицу пересекала «зебра» пешеходного перехода, того самого... Вот асфальт, на котором под холодным дождем лежала его бездыханная мать, вот газон, куда отнесли его маленького сына со сломанной ножкой и раной на лбу, а мальчик, увидев подбежавших родителей, всё повторял: «Всё в порядке, всё в порядке...» Несколько тяжелых дней и ночей они с женой провели в медицинском центре, куда поместили его мать и сына. Им разрешили ночевать в детской палате.

Тем днем он медленно шел в палату к сыну из нейрохирургии, где в коме лежала мать. Там все было без изменений и без надежд. Как всегда в конце декабря, было промозгло и холодно, между многоэтажными зданиями огромного больничного комплекса виднелось неприветливое серое море, от него становилось еще холоднее. В киоске во дворе он купил большой надутый гелием воздушный шар с изображением симпатичного добродушного большеглазого льва. Лев рвался ввысь, пришлось на конце бечевки сделать петлю и надеть её на палец, руки были заняты промасленным кульком с пирожками-бурекасами – их с женой обедом – и какими-то медицинскими бумагами. Сын грустил в своем кресле – перебинтованная голова, пятна йода на лице и лбу, выглядывающая из-под больничного пледа маленькая ножка с торчащими наружу блестящими илизаровскими спицами. В глазах сына были боль и усталость. И вдруг он увидел льва, который медленно плыл по воздуху в его сторону. Льва на тонкой бечевке вел к нему папа.

- «Это кто?» - в глазах у мальчика появился интерес, он робко заулыбался.

- «Это лев. Его зовут Лёва. Он пришел поздравить тебя с праздником, ведь скоро Новый год».

- «Да, я знаю. А можно его взять?»

- «Ну да. Он же к тебе пришел».

- «Спасибо».

Мальчик осторожно взял в руку бечевку, подумал немного и отпустил её. Лев взмыл к невысокому подвесному потолку и стал медленно путешествовать там вслед за легкими вентиляционными воздушными потоками. Бечевка с петлей была недалеко, и всегда можно было вернуть льва на место. А мальчик смотрел на шар и улыбался. Уже не так болела прооперированная нога, сверху ему улыбался в ответ симпатичный лев Лёва, а рядом были папа и мама. Всё будет хорошо.

Он смотрел на своего сына и вдруг осознал до конца, до самого дна, навсегда, как дорог ему этот маленький мальчик, чем-то похожий на него, на жену, а больше всего на самого себя. И как близок он был к тому, чтобы... Нет лучше не думать об этом, даже в прошедшем времени.

...Он нащупал во внутреннем кармане лоскут трикотажа, маленький сине-желтый разрезанный медицинскими ножницами детский носочек. Талисман,

который он уже полтора десятка лет носил с собой. И ещё имя... арабское имя Сами – врач-ортопед – это имя, наверно, было бы первым словом в его молитвах, умеи он молиться. Но и без того он был бесконечно благодарен ему за сына. Сын поправился, бли айн а-ра – чтоб не сглазить, как говорят на Святой Земле.

А мать... Мать перенесла несколько сложных нейрохирургических операций, но не помогло, она скончалась в реабилитационном центре спустя полтора года, так и не вернувшись полностью в сознание. Похоронили её на кладбище для неевреев километрах в тридцати от их дома. Он регулярно бывал там. Сначала с отцом, потом уже один. Изредка менял в керамической вазе искусственные, как здесь принято, цветы, зажигал в специальном ящичке новую свечу, прибирал надгробье, на котором на русском и иврите были выбиты имя и слова: «Жене и другу, маме, бабушке». Земля тебе пухом, мама. Чужая земля.

...«Ах, папа-папа... Я потерял мать, ты потерял всё. Ты потерял ту, которую любил, ради которой жил... Остальное: далекое-далекое детство, школа, выпускной вечер, закончившийся рассветным июньским утром сорок первого, училище, фронт, каторжно тяжелая армейская служба и наступившие было спокойные времена – всё это сжалось в маленький чуть пульсирующий клубок воспоминаний, которыми можно ещё – импульс за импульсом – поддержать угасающую инерцию существования... Поддержать... Держись, солдат. Разлетелись твои сыновья – продолжение тебя и той, которую ты любил и никогда не перестанешь любить. Хороши они или плохи, счастливы или нет – это теперь их забота, ты уже не поможешь и не защитишь. Далек твои внуки и уже правнуки. Ты дал им жизнь. Жизнь продолжается», - усаживаясь в опостылевшее самолетное кресло у иллюминатора, он никак не мог заставить себя переключиться на что-то другое. Очень уж плох отец. А ему нужно лететь, лететь, лететь...

Биржа труда ничем не могла помочь ему в поиске работы. Обычное бюрократическое заведение: дебит-кредит, сальдо-бульдо... Методично, как всё, что делал, он рассылал и рассылал свои резюме по адресам, которые один за другим выписывал из красочных «Желтых страниц», газетных и настенных объявлений. Позже он подсчитал, что таким образом перебрал больше пяти сотен адресов. Откликнулись пять или шесть раз, два раза его пригласили на интервью. Результат везде был один: отказ. Очень вежливый, он по неопытности сначала даже принимал его как намек на согласие, пока ему не объяснили, что если берут,

то берут сразу. Один бывалый человек сказал ему, что шансов у него нет: во-первых, возраст, пятьдесят лет это на пятнадцать лет больше, чем допускают приличия, а, во-вторых – overskill – избыточные образование и квалификация.

- «С твоим резюме можно идти наниматься в премьер-министры. Но ты не ходи. Место занято и надолго. Каменщики нужны, слесари нужны, сварщики...»

- «Я и слесарем могу, если надо», - он вспомнил, как со своим стародавним, еще с далекой юности, приятелем Николаем занимался ремонтом автомобилей. Летом у него было достаточно времени: два месяца отпуск, студенческие сельхозработы и практика, от которых всегда можно было урвать два-три дня в неделю. На просторном подворье у Николая свободно размещались три-четыре машины – работы хватало. Он вполне уверенно освоил сначала разборку-сборку, потом ходовую часть, потом двигатель. Рекламаций не было. Правда, кузовная работа не задалась. Николай посмотрел на отрехтованное крыло от старенького БМВ, которое дал было ему на пробу, почесал затылок и сказал: «Да, доцент. Термодинамику ты рассказываешь лучше. Тоже не все понятно, но лучше». Надо полагать, что Николаю, в недавнем прошлом его студенту-заочнику, было виднее.

-«Так я и слесарем могу...»

- «Ты резюме свое посмотри! Где там слесарь? Кто возьмет в слесари человека с такой биографией?! Хочешь идти в слесари – пиши, что работал слесарем четвертого разряда. Только шестого не пиши, проверят, это тебе не наукой заниматься. Правда, ты и здесь засветился, успел поработать научным сотрудником. Плохо дело».

Да он и сам видел, что плохо. Возраст, избыточная квалификация, сомнительная национальная принадлежность – это не Бэлле Михайловну убедить исправить запись в классном журнале. Пришлось ему столкнуться с этим еще раз, когда солидному военпромовскому предприятию срочно потребовался серьезный специалист его направления. Он отправил резюме. Через три долгих месяца получил отказ. Но ведь после нескольких лет работы в Технионе и знакомства с местной научной элитой он точно знал, что он не хуже других, скорее, лучше. Позже позвонил работавший на том предприятии бывший его студент: «Ну, вы же понимаете, в чем дело. Оборонное предприятие, режим...» Да, он понимал.

Жена не работала, подрастал сын, пошел в школу. Ему было страшно: ещё чуть-чуть – и всё. Что такое «всё», он не очень себе представлял, так как за долгую

жизнь ни разу не выпустил ситуацию из-под контроля, даже в самые тяжелые моменты он знал, что будет делать завтра. А здесь – нет.

И он собрался назад, домой. Нет, не насовсем, на заработки. И улетел в любимый свой город у гор, который они покинули в поисках лучшей жизни семь лет назад, как им казалось, навсегда. Он улетел, жена и сын остались. Договорились, что за три года он встанет на ноги, а дальше будет видно. В аэропорту жена спросила: «Ты уверен?». Глаза ее при этом были безнадежно печальными.

За год ему с большим трудом и немалыми затратами удалось оформить вид на жительство. Хорошо, что в городской администрации на солидных должностях работали его однокашники и выпускники. С трудоустройством было немного проще. Сначала помог старший сын, потом подключились друзья...

Загаданные три года превратились в пять лет, десять, одиннадцать... Он работал и работал. Скромных его заработков в общем хватало на поддержание семьи и собственное существование. А вот стоило ли все это таких жертв: многолетняя разлука с семьей, опять растущий без отца сын... Кто знает? Как черновик сгодилось бы, конечно. Только какие же в жизни черновики?.. Один-два раза в год он позволял себе слетать к семье и провести угасавшего отца...

...Он бросил взгляд в иллюминатор, откинулся в кресле, устало прикрыл глаза и вдруг увидел так ясно, что захоти – дотронешься рукой: одиннадцатилетний мальчишка бежит и бежит по мокрым камням вдогонку за поплавком, уносимым быстрым течением. Вперед, вперед, вперед... Камней уже не видно, только беснующаяся вода кругом, пена и почти осязаемый шум. Прыжок, прыжок, куда теперь? Прыжок... Всё, впереди только вода, а он уже прыгает. Куда?!!

Почему-то маленькие ничего не значащие события детства запоминаются нам в мельчайших цветных подробностях, как будто это произошло только что. И почему-то именно они, эти подробности, трансформируются в малопонятных декодерах мозга и вовсе непонятных декодерах души в привычки, навыки, поступки, поведение, характер, личность. С течением времени, казалось бы, и личность набирает вес и значение, и события случаются куда более масштабные, но память об этих событиях уже не такая свежая и яркая, и сами эти события сжались и потускнели, как изображение в перевернутом старом бинокле, да и как же мало значат они теперь! А то, что происходило месяц назад, на прошлой

неделе, позавчера, вчера?.. Унылый серый конвейер. Был такой давно-давно, когда их пятый класс повели на экскурсию на кирпичный завод. Под тусклыми лампочками в тёмном сыром цехе по серой ленте транспортёра мимо них плыла бесконечная полоса серой жирной глины. Проволочный нож в специальной рамке быстрым расчётливым движением резал её на серые прямоугольные заготовки, которые ровным серым строем двигались дальше в сушилку, а потом в печь, чтобы превратиться там в звенящие оранжево-красные кирпичи. Боже, как же это было неинтересно!

В детстве все события, происходящие в нашей жизни, принадлежат нам, они и есть жизнь. Мы малы по сравнению с этими событиями, мы всецело зависим от них, а потому относимся к ним с почтением и легко следуем их логике и сути, и оттого события эти фиксируются в памяти самым естественным образом. Но мы растём, начинаем осознавать свою значимость. То, что происходит вокруг, уже не кажется нам бесконечно большим и не зависящим от нас, мы верим, что вот-вот, ещё чуть-чуть, и мы схватим за узду этого норвистого мула – течение жизни. Мы мужаем, матереем. Наш мир разделяется на две половины: большая – Я, и поменьше – остальной мир. Наверное оттого и события из этого остального мира взрослой жизни не оставляют такого следа в нашей душе, как те, что произошли с нами в детстве. Теперь нам кажется, нет, мы уверены, что это мы управляем жизнью, а не она нами. Ох, брат, не щекочи лукавого!..

*Ты появляешься на свет и испускаешь первый крик,  
и на хронометре твоём чудесно возникают числа:  
с обратным счётом циферблат, где предначертан каждый миг,  
и циферблат нежданных встреч, случайных дат, незваных мыслей.  
Отныне время состоит из двух не связанных времён:  
в одном мы бодрствуем и ждём, и любим и детей рожаем,  
а во втором - чуть слышный звук, неясный образ, детский сон,  
они тревожат и манят, мираж и жизнь перемежая.  
Ты трудно учишься ходить, судить, где истина, где ложь,  
ты начинаешь видеть мир, растёшь... И толькоходишь в силу -  
а где-то тикают часы: тик-так - и ты уже живёшь  
наполовину в том, что есть, наполовину в том, что было.*



*Баланс несбывшихся надежд и состоявшихся утрат -  
вчера беспечная игра, сегодня грустная реальность.  
Осколки прожитых секунд летят, как поздний листопад,  
в котором самый яркий лист теряет индивидуальность.  
Ещё немного - и мигнёт нулями старый циферблат,  
он отработал, отсчитав длину отпущенного срока.  
Пора прощаться и идти, лишь брось последний взгляд назад:  
там оба времени твои опять текут одним потоком.*

## Разрешение проблем

Отца похоронили без него. Он всё равно не успевал к скоротечным еврейским похоронам. Он и брат, три года назад обосновавшийся в далеком Торонто, прислали деньги на похороны и памятник. На похоронах были жена и сын. Прилетел из Москвы старший сын, он помнил и очень любил деда.

...С черного полированного камня, чуть приподняв бровь, смотрел на него отец, спрашивал: «Как ты, сын?»

- «Здравствуй, отец. По-разному. Не всё хорошо. Но я держусь. Прости, что не прилетел проститься с тобой, прости, что не смогли мы положить тебя рядом с мамой, закрыли то кладбище», - каждый раз, бывая здесь, он просил у отца прощения.

- «У сына вот проблемы... Что-то не складывается. Мальчик замкнулся, ко мне и матери стал относиться как к чужим... Да что я говорю, ты же всё видишь, отец. Вот я и вернулся. Я держусь. Я делаю всё, что могу, папа».

Он не стал рассказывать отцу, что совсем отдалился старший сын, что устала от такой жизни жена: одиннадцать лет одна... Да отец и сам всё видит. Что сам он совсем устал от жизни, он отцу конечно не говорил, старался здесь даже не думать об этом. Неловко как-то. Он вдруг осознал, что с кончиной отца исчезла граница между ним и тем, к чему все готовятся и к чему все не готовы. Теперь он крайний.

Ну вот и всё. Не осталось ничего, что могло бы задержать его здесь. Старший сын, кровинка, такой родной, доверчивый, близкий, совсем ведь рядом был... Стал на крыло, пошел своим путем, дальше, дальше, дальше... Ушел. Безвозвратно ушел. Младший сын, невыразимая любовь и боль его, наверное тоже ушел. Можно, конечно, ещё немного подождать, присмотреться. Но что-то подсказывает: ушел. Как больно, Господи! За что?! Неужели вся эта нескладная его жизнь, от которой в душе только боль, боль, боль, не перевесила и не искупила все его совершенные и не совершенные грехи?! Хотя где та контора, кто там занимается этим взвешиванием?..

Отец и мать упокоились на разных погостах в этой непонятной стране, которая никогда не станет его родиной. Да и как что-то может стать родиной? Родина может только быть, быть изначально. И его родина там, далеко на севере, где

снега и болота, где комары и бесчисленные озера, где неяркое летнее солнце это подарок, а не кара.

Жена... Так жаль её! Она привыкла к нему, смирилась с этой бесконечной неустроенностью их жизни. Правда, последнее время он слышал порой нотки раздражения в ее голосе. Что ж, может, у нее есть еще шанс. Она относительно молода. Да и сын поддержит, если что. Должен поддержать.

Он ещё раз перечитал короткое официальное письмо, которое лежало перед ним. Долгожданное письмо. Там было несколько строчек: «Представленный вами проект и бизнес-план по поводу ... одобрен комиссией нашего министерства и включен в программу финансирования...» Прекрасно. По крайней мере, решение он принимает не под давлением обстоятельств. Нет! Он сам. В конце концов, не бывает решений правильных и неправильных, решения бывают только принятые и не принятые. Почему-то вспомнился плотный желтоватый бумажный прямоугольник, почтовая карточка, выпавшая когда-то из пачки газет, вынутых им из почтового ящика – извещение ВАК о присуждении ему ученой степени. Он уже почти не надеялся тогда. И дождался. Что ж, всё повторяется. Только он совсем устал.

*Приходит время, и ты понимаешь, что нет ничего нового в этой жизни, все повторяется. И дальше уже не интересно... Мы, как одинокие объекты на геостационарной орбите, видим перед собой одну и ту же надоевшую картину. Высоко ли мы, низко ли, значения не имеет. Меняется только масштаб, фокусное расстояние, зум. Ближе – чуть детальнее, дальше – чуть шире. Но картина-то, увы, та же самая. А если кому-то и посчастливится в силу гениальности или удачи, активности или нахальства, что всё суть одно и то же – стечение жизненных обстоятельств – найти заветный тумблер-рычажок и, тронув его, переместиться чудесным образом на другую орбиту, то нетерпеливому его взору откроется та же до слёз знакомая картина. И тогда в сердце его навсегда поселится тихая тоска из-за кончины последней, нереализованной и, увы, нереализуемой надежды. Тем, кто не нашёл этот рычажок, даже немного легче. В них живёт ещё иллюзия, что есть все-таки шанс, что где-то там далеко... «Там за облаками» - помнишь?.. Так уж мы устроены, что взгляд наш устремлён вниз – не споткнуться бы, не оступиться, и ни у кого не хватает духа увидеть звёздное небо, да нет, просто посмотреть*

*на него. Небо нас пугает, черно там и холодно. А звёзды прекрасны, но так безнадежно далеки...*

...Он встал из-за стола, прошел на кухню, достал из инструментального ящика отвертку и несколько металлических деталей, вернулся за стол и начал аккуратно, как делал всё, собирать их воедино. Через пятнадцать минут на столе перед ним лежала массивная толстостенная трубка дюймов в пять длиной с короткой неудобной рукояткой посередине и навинчивающейся заглушкой с торца. Да, не Стечкин. Но работает. На прошлой неделе он проверил на пустыре: дюймовую доску с метра пробивает, а больше и не нужно. Вдруг вспомнились детские успехи в стрельбе по бутылкам. Он усмехнулся.

Ну, с богом. Можно начинать?.. Ну и слово подобралось, однако, чего начинать-то? Завершать. Было немного не по себе, казалось, что-то осталось недоделанным. «А не записать ли всё, что было», - он явно тянул время. Он подвинул к себе ноутбук, на минуту задумался, потом быстро набрал: «Четырёхлетний мальчик стоял, уткнувшись лицом в клетчатую мамину юбку и изо всех сил прижавшись к ней...» - и задумался надолго. Перед ним начала прокручиваться длинная и путаная картина его жизни.

- «Месяца на три работы. А то и больше. И кому всё это нужно? - потерянно подумал он, - старшему сыну? Увы. Младшему? Вряд ли. Да он на этом языке и читать-то не станет, слишком много букв в алфавите. Мне самому?..» Он решительно закрыл ноутбук, пошарил в кармане брюк и вытащил оттуда длинный блестящий револьверный патрон с чуть-чуть выглядывающей из желтой гильзы серой свинцовой пулей, с болезненным интересом посмотрел на него, зачем-то протер гильзу носовым платком, сложил его, расправил пальцами по сгибу и положил на стол, затем аккуратно вставил патрон в трубку и с силой завернул заглушку. Он сел в кресло, положил руки на подлокотники, оттянул рычаг на заглушке трубки, потом неловко обернулся – шея давно уже побаливала – и осмотрел спинку кресла, оценивая, как это будет выглядеть через минуту. Да уж...

Он встал, открыл дверь и вышел на улицу. Его обдало внезапной холодной свежестью. С темного неба легкими хлопьями медленно падал снег. Откуда здесь снег, здесь, где не только в октябре, а и в январе-то температура не опускается ниже плюс пятнадцати, а снега не было никогда? Никогда! Он протянул ладонь, на нее упали несколько невесомых снежинок и сразу растаяли. Снег. И вдруг он

понял: это был снег его далекой, любимой и недостижимой родины, снег его детства. Мама рассказывала, что той апрельской ночью и под утро, когда она родила его в глухой северной деревне, не доехав до райцентра с роддомом нескольких километров, шел снег, а на следующий день была оттепель с неярким солнцем на бледно-голубом небе, сосульками и капелью. Родина приветствовала его.

*Эпизоды, быстрыми импульсами пробежавшие в памяти за краткий миг, сложились в пунктирную цепь, в линию, не длинную, не короткую, не ровную, не кривую. Если смотреть на нее не прямо, а боковым зрением, краем глаза, то пунктирные штрихи как будто сливаются воедино, а неровности спрямляются. В общем, линия. Её начало едва угадывается там, в прекрасной лазоревой дали, где родной мамин голос пел тихую колыбельную, а заканчивается линия здесь, рядом, где пушистый белый снег всё падает и падает на мёрзлую землю и на это чужое лицо, поросшее короткой седоватой щетиной...*

*О чем это я? Ах да, может, вернуться? Не рано ли в заоблачные дали?.. Неровная струйка дыма из короткого ствола, неудобно зажато в откинутой вбок руке, истончилась и оборвалась, тёмное влажное пятно, проступившее под нагрудным карманом потёртого серого блузона, перестало увеличиваться в размерах и уже не было таким страшным, как мгновение назад. Нет, не рано. В самый раз. Пора.*

